

НИКОЛАЙ  
ПОЛЕВОЙ  
ИЗБРАННЫЕ  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
И  
ПИСЬМА

# Николай Алексеевич Полевой

## Эмма

Николай Алексеевич Полевой (1796–1846) — критик, теоретик романтизма, прозаик, историк, издатель журнала "Московский телеграф" (1825–1834).

Настоящее издание включает в себя наиболее значительные и известные художественные произведения русского журналиста, писателя и историка Н. А. Полевого (1796—1846): «Повесть о Симеоне, Суздальском князе», цикл романтических повестей, объединенных автором под названием «Мечты и жизнь», и повесть «Дурочка». Раздел писем знакомит читателя с литературным и дружеским окружением Полевого. Большинство произведений и писем публикуется в советское время впервые.

# Содержание

#1	0005
ЭММА	0005
I	0005
II	0017
III	0036
IV	0063
V	0081
VI	0095
VII	0112
VIII	0118
IX	0125
X	0137
XI	0144
XII	0152
XIII	0154
XIV	0162
XV	0172
XVI	0185
XVII	0192
XVIII	0196
ПРИМЕЧАНИЯ	0203



# ЭММА

*Look on a love which knows not to  
despair,  
But all unquench'd is still my better part,  
Dwelling deep in my shut and silent heart  
As dwells the gather'd lightning in its  
cloud,  
Encompass'd with its dark and rolling  
shroud.  
Till struck, — forth lies the allethereal  
dart![1]  
Байрон*

## I

В отдаленной части Москвы, именно в Немецкой слободе, но нашествия Наполеона было много милых, веселых домиков и больших боярских домов. Теперь это изменилось: Немецкая слобода застроена фабриками, заводами, казенными училищами; только развалины, обгорелые в 1812 году, видны от большей части прежних боярских домов и вывески пансионеров застилают собою стены обширных палат вельможеских, уцелевших

от пожара двенадцатого года или возобновленных после него. Прихоть перенесла обиталища знатных людей в другие части Москвы. Но когда все это было не так, до 1812 года, говорю я вам, в Немецкой слободе из числа великолепных домов вельможеских великолепнее других был дом князя С\*\*\*. Тенью своею застилал он всю улицу; обширный сад, окруженный каменной стеною, с чугунными фигурными столбиками по тротуару, помещенному чугунными плитами, и с железными цепями от столбика к столбику, примыкал к нему с одной стороны. Огромные старые деревья видны были из-за садовой стены, и гордо шумели вершины их, равные с вторым этажом княжеских палат. С другой стороны дома, похожего видом на старинный фигурный комод, с раковинами на полукруглых окнах и с обширным балконом, окруженным фигурною решеткою, были исполинские ворота. Сквозь их железные, всегда растворенные решетки открывался обширный мощный двор с флигелями, где помещалось ста три дворовых людей, бывших для услуги при князе и княгине, жен их и детей. Двор этот вдали

оканчивался чугунного решеткою и опять железными симметрическими воротами, ведущими в регулярный, стриженный сад. Об обширности сада судите по тому, что Яуза текла через него.

Таков был дом князя С\*\*\*. Подле этого обширного, построенного во времена императрицы Елисаветы дома рядом находился домик, деревянный, обитый тесом, выкрашенный серою краскою; и — если бы счастием надобно было выбирать себе жилище по сердцу, не знаю, едва ли не этот домик выбрало бы оно себе и едва ли не предпочло бы его огромному соседу, великолепному княжескому дому. Идя поутру мимо серого домика, редкий прохожий не останавливался, видя сквозь светлые стекла его в небольшой зале прелестную картину вроде картин Августа Ла-фонтена: каждое утро за большим столом сидели тут трое милых детей — настоящие Грёзовы головки. Дети сидели и учились; в стороне, под окном, всегда сиживал тут же в больших креслах старик с дымящеюся трубкою и с книгою или с газетами в руках. Его не умел бы написать Грёз, потому что он не умел

писать этих добрых немецких лиц, этих длинных седых волос, внушающих какую-то невольную почтительность. Грёз не мог бы написать и еще двух лиц, которые можно было всегда заметить сквозь светлые окна серого домика: старушки в огромном чепчике, с очками на глазах, заботливо занятой вязаньем или штопаньем чулков, — истинного изображения доброй немецкой хозяйки, и молодой девушки, которая учила детей, сидя с ними за большим учебным столом их.

Люблю я эти готические лица немецких стариков и старушек, смолода краснощекие, прикрытые русыми кудрявыми волосами, украшенные голубыми глазами, и тихо, постепенно перешедшие к седым волосам, морщинам и выражению доброты, откровенно высказывающей вам всю жизнь, за которую едва ли не всякий день благодарили они бога! Иногда и на этих лицах увидите неправильную морщину — след печали, горести, сердечной потери, но такая морщина — пришлец между другими собратиями, показывающими, что жизнь постепенно накладывала их на лица добрых людей, как часовая стрелка по-

степенно переходит от одной минуты к другой, от одного часа к другому, пока укажет полдень, вечер, наконец — полночь, добрую ночь! — Да, смотря на такое лицо старушки, я готов сказать вам, что жизнь ее прошла, как ясный весенний день, что было для нее время учиться и помогать матери в хозяйстве, потом время любить, любить тихо, весело, при самом начале любви думая о подвенечном платье и заведении своего маленького хозяйства и переходе для этого хозяйства из кухни матери в кухню мужа, с которым совестно не быть счастливою: так он добр, так он заботлив, так он любит тихо, кротко, нежно. Печаль и горе в жизни таких людей — это облачки, рассеянные на ясном небе. Они, эти люди, по капле пьют столь горькое для многих питье, которое судьба подает каждому из нас при рождении, — жизнь — и, допивая его при дверях гроба, среди добрых, милых им людей, с сожалением заглядывают в бокал, ими осушаемый, и жалеют, что в нем остается допить только несколько капель.

Старик с газетами и старушка с чулком, обитатели серого домика, прожили жизнь

свою так: это видно было из всего — из их взоров, часто с благодарностию обращавшихся к небу, из тихого пожатия руки, каждый раз, когда старушка проходила мимо старика, из их ясных, добрых лиц, из того, как они смотрели на малюток детей, из того, как эти малютки обнимали их и доводили до слез своими ласками. Он и она изображали собою прекрасный вечер прекрасного дня.

Но девушка? Правда, по ее беленькому, всегда опрятному платьицу, розовым щечкам, голубым глазам, зеленому передничку, стройной ножке, тоненькой талии можно было видеть, что это молоденькая немка, милое, доброе создание, утро дня жизни, ясного и тихого; но, и не бывши Нострадамом, не умея составлять гороскопов, можно было задуматься, глядя на нее, подумать, что едва ли ей предоставляла судьба участь, подобную участи ее деда и бабушки (старик и старушка, жившие с нею, были ее дедушка и бабушка). Из чего можно было так заключать? Она была так скромна, так проста, так мила; от учебного стола братьев весело переходила она к хозяйству, от хозяйства к своему фортепиано,

от фортепиано к своему "Sammlung gottesdienstlicher Lieder" [2] и с таким полным радости сердцем пела вместе с дедом своим: "Deines Gottes freue dich, dank ihm, meine Seele! Sorget er nicht vaterlich, da8 kein Gut dir fehle?" [3]

Все так. Но, всматриваясь в нее, в эту девушку, вы заметили бы какую-то невольную задумчивость, когда ей вовсе не о чем было задумываться, увидели бы иногда в глазах ее навернувшиеся слезы — не радости и не печали, а чего-то тайного, грустного; она закрывала тогда глаза своею ручкою и потом подымала их к небу; и тогда можно было заметить, что у нее глаза не просто будущей немецкой хозяйки, голубые, но какие-то светлые, яркие, почти лазуревые, способные сверкать чудным огнем. У девушки, которую судьба предназначает просто быть доброю хозяйкою и размерять жизнь свою определенными шагами от колыбели дитяти до кухни, никогда не подымается грудь от такого тяжелого вздоха, никогда щеки не пышат таким неопределенным румянцем, и этот румянец не сменяется потом вдруг такую бледностию. Вглядитесь в

нее: и волосы ее не просто русые — они отливают каким-то особенным, бледно-золотистым цветом, и эта белизна лица не просто белизна всякой молодой девушки в семнадцать, восемнадцать лет: это какой-то особенный поэтический цвет, о котором певали немецкие миннезингеры, какая-то прозрачность тела, о которой говорит современный нам Данте: "a travers ton beau corps mon ame voit ton ame" ("сквозь твое прекрасное тело душа моя видит твою душу"). Вы видите эту девушку за рукодельем, за учебным столом, подле деда, бабушки; она тиха, тиха, безмолвна, глаза ее опущены; вокруг нее пустота души и сердца, ни одна страсть не смеет приступить к ней, близ нее не слышно пламенного дыхания юноши, который угадал бы ее душу, не слышно и биения сильного сердца, от которого страшными звуками отзывалось бы ее сердце, как струна сама собою вторит струне, на один лад с нею настроенной. Да, эта девушка может умереть, сама не сознавши души своей; ее небесная гостья может безмолвно протосковать всю жизнь в ее прекрасном теле; девушка эта может наконец задохнуться

сердцем и душою в объятиях молодого, благопристойно-красивого, ласкового, благоразумно любящего супруга, и жизнь ее тогда пройдет так же тихо и весело, как тихо и весело танцуется немецкий вальс, оканчиваемый гросс-фатером, как протекла жизнь ее бабушки... Но что будет с нею, если злобный демон страстей зажжет ее бытие сильными страстями? Кстати: на учебном ее столике, подле тетрадок, лежит какая-то маленькая книжка; это Шиллер, сумасброд Шиллер, напечатанный в маленький формат, по немецкому обычаю, на серой бумаге; и глаза ее задумчиво устремлены на стихи:

*Empfange meinen Vollmachtbrief  
zum Glucke!*

*Ich bring ihn unerbrochen dir  
zurucke*

*Ich weiss nichts von  
Gliickseligkeit... [4]*

И кажется, что старики вовсе не замечают этого проклятого Шиллера, не видят, как читают его украдкою, когда добрые старики думают, что внучка разбирает грамматический смысл какой-нибудь фразы в детском

"Lesebuch". Милое создание! брось, ради бога, брось этого Шиллера! Возьми лучше с старинного туалета бабушки твоей "Livlandisches Kochbuch" [5] и читай в ней, как готовят пикули и делают сою...

Но я рассказываю вам столько подробностей о девушке, обитательнице серого домика, а не сказал вам еще ни имени ее, ни кто такие старик и старушка, с нею живущие, ни что это за дети, которые живут с нею и с ними. Объяснить такие семейные подробности — если они вам надобны — не долго: девушка, о которой я рассказывал, — Эмма, Старик — это уже вам известно — ее дед, старушка — ее бабушка; трое мальчиков — ее маленькие братья; и все они и она составляли доброе, счастливое семейство, которое до 1812 года обитало в маленьком красивом домике, в Немецкой слободе, подле огромного дома князя С\*\*\*.

Биография старика была очень проста и не велика. Отец его был немец, приехал в Россию, когда вызвали из Германии знающих людей для устройства в России почтамтов. Определясь в Москве, он прожил в ней всю

жизнь; лет двадцать просидел подле почтамтского окошечка, ежедневно, кроме воскресных дней, принимая письма; но при том он успел выполнить почти все, что Стерн почитал необходимою обязанностью каждого честного человека, то есть: женился, построил дом, насадил сад (только не написал ни одной книги и едва ли читал что-нибудь, кроме немецких газет и деловых бумаг); потом передал и домик, и садик, и небольшое нажитое им имение сыну, который, не имея охоты сидеть в почтамте, сделался учителем немецкого языка в Москве, женился в свою очередь, на старости лет перестал учить немецкому языку и спокойно доживал век свой в отцовском домике, который перестроил он и выкрасил серою краскою. Детей у него не было. Услышав, что племянник его, служивший в Петербурге, умер, оставив дочь и трех сыновей, старик, в первый раз в жизни, оставил Москву, поехал в Петербург, обнял там со слезами сирот племянника, маленькую Эмму и братьев ее, поклялся заменить им отца и привез их в Москву, где в доброй старушке, жене его, Эмма и братья ее точно увидели вторую

мать, а в старике деде — второго отца. Уже несколько лет прошло после поездки старика в Петербург. Эмме было уже семнадцать-восемнадцать лет; но благодарная молитва к богу все еще означала для нее каждый вечер, когда день оканчивался, и Эмма, удалясь в свою комнату, надев на свою головку спальный чепчик, размышляла несколько минут о том, что происходило с нею в этот минувший день и не согрешила ли она перед богом чем-нибудь? Не огорчила ли чем-нибудь папеньку и маменьку (так называла она деда и бабушку)? Потом — и то не всегда — она задумывалась, думала несколько минут — сама не зная о чем... "Нет ничего опаснее таких неопределенных дум!" — скажете вы. Может быть; только уверяю вас, что Эмма после того каждый вечер засыпала тихо и спокойно, и никакое дневное событие не перерождалось для нее в привидения ночи: она не видала никаких снов, этих зловещих воронов нашей действительной жизни!

— Дома ли Эмма, дяденька? — спросила веселая девушка, поспешно входя в залу серого домика.

— Дома, дома! — отвечал старик.

— Где она?

— В саду.

— Бегу к ней!

— погоди, ветреница! дай поцеловать себя!

— некогда! мне надобно пересказать ей тысячу новостей! — отвечала девушка, мимоходом прижимая ротик свой к руке старика, пока он целовал ее в лоб и щеки.

— тысячу новостей! они все, я думаю, сойдут на одну: ты, верно, получила письмо от своего Теобальда?

— Вы угадали!

— Что он пишет?

— "он скоро сюда будет; да не задерживайте меня; мне надобно все, все пересказать моей Эмме! — и, бросив свою соломенную шляпку на столик, гостья побежала в сад.

Этот сад можно было назвать небольшим

красивым цветником, чем-то похожим на шитье дамских шемизеток, где в стройном порядке нитками вышиты глупые цветочки и листочки. Но скажите: кто из нас не любовался этими нитяными цветочками на груди какой-нибудь милой девушки? Так и эти садики. Они малы, однообразны, пошлы; деревянная клетка, выкрашенная зеленою краскою, обложенная тощими акациями, и несколько кустов малины и смородины, вытянутых по веревке, заменяют в них тенистые аллеи; кривые дорожки, по которым тесно идти втроем и извилины которых рассмотрите вы с первого взгляда, как обман дитяти угадываете с первого слова, — вот вам изображение того, что при маленьких домиках в Москве громко называется — сад. Обыкновенно посредине бывает еще в этих садах цветник, где хозяева ставят иногда алебастровых богинь, которых разносчики таскают по Москве на лотках вместе с статуйками Наполеона, изображениями Езопа, Милосердия, Лаокоона, Надежды и Любви, Купидонами и кошками с подвижною головкою и с мышью в зубах; или сажают тут редкие американские растения, про-

даваемые в каждой цветочной лавочке. Если у хозяина есть еще дюжина чахлых деревьев — он гордится своим садом. "У вас прекрасная тень", — говорят ему. "Мы тут пьем чай по вечерам", — говорит хозяйка. "Как приятно пить чай вечером на открытом воздухе", — прибавляет гость: как будто этот ящик без крышки в самом деле сад и открытый воздух! Но когда такая цветочная шемизетка бывает надета на грудь счастья жизни, — знаете ли, как милы, очаровательны кажутся тогда и клетка с акациями, и дорожки, и цветник! Все зависит от лучей души: свети они радостью — все мило и радостно! Капля росы на листочке, что это такое? — Капля воды; но луч солнца осветит ее, и она загорится алмазом.

Такой садик, о каких мы говорили, был при сером домике; в этот садик побежала гостья искать Эмму, увидела ее в углу садика, подле беседки, и издали закричала ей: "Bon jour, mon amie!" [6] Эмма стояла, низко наклонившись к цветочной грядке, и что-то внимательно рассматривала. Она не слыхала приветствия веселой своей гостьи, не слыхала

шума шагов ее, когда эта гостья бежала к ней по дорожкам, и тогда только заметила ее, когда гостья подбежала к ней и зажала ей глаза руками.

— Ах, Фанни, — сказала Эмма (гостью звали Федосьею, но это неблагозвучное имя еще в детстве ее было переделано в Фанни), — шалунья! пусти меня!

— Что за задумчивость? Не слышать моего голоса, не видеть меня!

— Я смотрела вот на этот милый мой цветочек: погляди — он оживает; я думала, что он совсем пропал, и как это меня печалило, Фанни! Я ходила за ним, как за больным братом; посмотри: он оживает теперь!

— Что за цветок? Какой вздор! Простые васильки!

— Васильки! Бог и им велел жить; и не жалко ли, если они гибнут, не расцветая, не насладившись своею жизнью! А всего-то им жить одно лето...

Эмма опять наклонилась к кусту васильков и выправляла их около тычинки, к которой был привязан кустик их.

— Что за ребячество, Эмма! Брось твои ва-

сильки; пойдем ходить по саду; я тебе перескажу — ах! милый друг! я тебе все перескажу! Он пишет, он скоро приедет! Уйдем в беседку, Эмма! Я тебе прочитаю! — Фанни выняла из-за шнуровки своей маленькое письмоцо, крепко поцеловала его и издали показала Эмме.

— Пойдем в беседку! — сказала она. Девушки обнялись, сели на лавку в беседке; рука Фанни обвилась вокруг шеи Эммы; голова Эммы склонилась на плечо Фанни, и разговор — смесь французских и русских слов — начался вполголоса.

Пока Эмма и Фанни переговорят о всяком вздоре — а он в девичьих разговорах занимает важное место (да и в чьих разговорах не так?), — я успею сказать вам, когда вы сами еще не догадались, что Фанни была подруга Эммы — молодая девушка, дочь соседа, немца, чиновника, какой-то дальней родни, который женился на русской дворянке, отчего в именах детей его вышла страшная путаница русских имен и немецких прозваний: Федосья Готлибовна, Филипп Готлибович и проч. — Говорили, будто такая же путаница

вышла в его хозяйстве и воспитании детей. Фанни была подруга Эммы: вы знаете, что такое значит "подруга девушки"? Меньше, нежели ничто; французская эпиграмма на дружбу, перевод Шекспирова сонета с французской прозы в русские стихи! Всего чаще подружество девичье начинается в пансионах, иногда на балах и танцевальных вечерах. В пансионах оно доказывается тем, что подруги подсказывают друг другу уроки и делятся конфетами; на балах — тем, что они садятся рядом в мазурке и ходят обнявшись, пока музыканты отдыхают, сто раз повторивши одно и то же. Иногда это подружество продолжается годы и кончится тем, что одна подруга выходит замуж; счастливец вытесняет из сердца ее бедную подругу, как первый луч солнца заставляет бледнеть бедную луну. Иногда...подруги надоедают друг другу, ссорятся и расстаются; иногда свет разрывает нежную дружбу их за порогом пансиона, где одну подругу ждет лакей, облитой золотом, с словами: "За вашим сиятельством маменька изволила прислать карету", когда другой в то же время говорит беззубая нянька или старая

кухарка: "Маменька велела мне проводить вас, барышня, домой". Старые девушки редко бывают подругами: злые на все, они искусали бы друг друга, искусав всю надежду свою на счастье в жизни. Но едва ли сыщете хоть одну молодую девушку в мире без подруги. Они читают вместе азбуку любви на заре жизни, когда душе девушки все так чуждо и знакомо, близко и далеко, и все так непонятно и понятно, без отчета голове и сердцу. В маленьком мире ее бывает так темно: сердце еще не освещает пустоты идей, а сквозь душу, как сквозь стеклянную призму, расцветивается между тем все семью небесными цветами, без жара, но и без тени. Под эту призму становится обыкновенно подруга девушки, и — боже мой! — сколько тут является важных открытий ничего, тайных разговоров ни о чем, писем и записок, стихов и альбомов, узоров по канве и пересылки нот, где стихи Жуковского и Пушкина, понятные только перегоревшей душе, поются на голос романса королевы Гортензии и "Фрейшиц" переделан в вальсы и кадрили безбожными врагами музыки! Кто не смеется, найдя в альбоме девушки: "Je vous

souhaite de tout mon coeur — toutes sortes de bonheur" [7] либо выписки из Делиля и Сен-Ламбера? Но мне также бывает смешно, когда я нахожу в нем:

*If that high world, which lies  
beyond  
Our own, surviving Love endears;  
If there the cherish'd heart de  
fond,  
The eye the same, except in tears*

—

*How welcome those untrodden  
spheres!  
How sweet this very hour to die!  
To soar from earth, and find all  
fears  
Lost in thy light — Eternity!*

*It must be so: tis not for self  
That we so tremble on the brink;  
And striving to o'erleap the gulf,  
Yet cling to Being's severing link.  
Oh! in that future let us think  
To hold each heart the heart that  
shares,  
With them the immortal waters*

*drink,  
And soul in soul grow deathless  
theirs! [8]*

И это переписывают в альбом подружке, по складам, детскими каракулями? Сколько смешного в мире!

"Спешу уведомить вас, милая Фанни, что, слава богу, все дела мои в Саратове кончились, я вчера еще выехал бы отсюда, если бы не простудился и если бы доктор не посоветовал мне не пускаться в дорогу с моим кашлем. Зная чувства ваши и судя о них по своим, прошу вас не беспокоиться обо мне и уверяю, что болезнь моя совершенно ничтожна. Вы можете вообразить, с каким нетерпением желал бы я поспешить к вам в Москву, где ожидают меня любовь и счастье. Завидую этому письму, которое увидит вас прежде меня. Мысль о вас никогда не оставляет меня, и нередко даже благотворный сон представляет мне ваш прелестный образ. Недавно был я у дяденьки Богдана Богдановича. Он сам и милое семейство его любят вас заочно, как сестру и дочь, хотя еще и не знают лично. Папенька и маменька препоручают вам свиде-

тельствовать их почтение вашему дедушке и бабушке".

Таково было письмо, которое прочитала Эмме подруга. Это было письмо от жениха ее молодого и очень милого человека, который ходил к ее отцу три года, наконец предложил Фанни руку, был створен и уехал в Саратов испросить позволения отцовского на свадьбу и устроить свои дела.

— Не правда ли, как он мило пишет, как он меня любит? — вскричала Фанни.

Эмма молчала.

— Ты сегодня пренесносная, — продолжала Фанни. — Радуетесь над дрянным цветком, а не восхищаетесь письмом моего жениха! Мило ли оно?

— Нет! — отвечала Эмма рассеянно.

— Эмма! — вскричала ее подруга, сердито отодвигаясь от нее.

Эмма опомнилась и спешила уверить подругу, что она сама не знает, что говорит.

— Я ведь хорошо знаю тебя, Эмма: ты опять сегодня вздумала мечтать; опять читалась своего Шиллера!

— Нет! я недели две не читала его и едва

ли примусь за него скоро.

— Что ж за причина твоей рассеянности? Посмотри, что за прекрасный день! Как все цветет, как все хорошо!

— Да! — отвечала Эмма, вздыхая.

— Мой Теобальд приедет; мы будем танцевать, много танцевать!

— Я рада! — сказала Эмма, и слезы капнули из глаз ее.

Фанни испугалась, бросилась к подруге, обняла ее, просила простить и клялась, что не хотела огорчить ее.

— Я и не грущу; право, я весела, и ты меня ничем не оскорбила, Фанни!

— Но я говорю о своем счастье, когда ты печальна!

— Я не завидую твоему счастью, Фанни; клянусь богом, не завидую! Мне иногда даже бывает жаль тебя.

— Милый друг! что с тобой сделалось?

— Прости меня, Фанни! Я печалю тебя моими словами!

— Нет! но я тебя не понимаю: этого прежде не бывало. Я заметила, что с тех пор, как я невеста Теобальда, я вовсе не узнаю тебя!

Поверят ли: беспокойное чувство ревности и вместе самодовольства блеснуло в глазах Фанни; но, прибавим к чести ее сердца, — на одно мгновение.

Ничего этого не замечая, Эмма продолжала печально:

— Не ты виновата в этом, Фанни, — уверяю тебя, не ты. Это глупость, вздор — мечты самые нелепые...

— Ты мне расскажешь их?

— Ради бога, не спрашивай! Я сама их не понимаю и не умею растолковать.

— Тебе скучно?

— Нет! не скучно и вовсе не грустно. Но мое чувство походит на состояние человека, которого посадили в клетку и которого невидимая какая-то сила удерживает между небом и землею. Он сам не понимает, где висит его клетка; вокруг него пустота, и ей нет конца ни края, этой пустоте, Фанни: пустыня совершенная! Иногда по ней пролетает мимо его что-то милое такое, раздаются звуки такие чудные — ах! какие чудные... И вдруг все исчезает; и являются и летят мимо привидения, такие страшные, что он от ужаса закры-

вает глаза...

В это время где-то в отдалении, по-видимому у соседей, раздались странные звуки: казалось, что они походят на клики отчаяния, на смертный стон, вырывающийся из груди человека, которого душит сильная рука. Звуки эти пронеслись в воздухе и мгновенно исчезли. Эмма задрожала; Фанни также вздрогнула, осмотрелась кругом — все было тихо, радостно, светло; она не посмела спросить у Эммы, прижавшей лицо свое к ее груди, и начала опять разговор:

— Милая Эмма! ты будешь неблагодарна, если не согласишься, что тебя все любят, обожают, что ты составляешь радость и счастье своего семейства, что я тебя люблю... Неужели тебе этого не довольно?

— Все знаю, все чувствую и боюсь, не грех ли мое несчастное чувство, не значит ли оно неблагодарности к моим родным... к тебе, моя Фанни... к самому богу...

— Эмма! ты любишь кого-нибудь и скрываешь от меня?

— О, нет! уверяю тебя! — Эмма подняла голову свою и прямо в глаза смотрела своей по-

друге.

— Верю теперь; но что же сокрушает тебя?

— Не знаю. Когда дедушка ласкает меня, мне кажется, что это в последний раз, что завтра Эмма останется одна, одна; когда братья весело прыгают вокруг меня, мне думается: они скоро покинут тебя, и каждый из них скоро и навсегда забудет об Эмме.

— Зачем же печалишь себя такою грустною мыслью, Эмма? Милый друг! у тебя будет свой Теобальд! Не поверишь, как радостно теперь я думаю, что он любит меня; что мы с ним будем жить, так долго, долго, и все будем любить, и все будем счастливы!

— Ах, милый друг! я испугалась бы такого чувства и не понимаю, как может оно тебя радовать! Мужчины — я боюсь их: они пугают меня, все, сколько их ни видала! Их любовь — прости меня — любовь к тебе Теобальда — избави боже! Нет, нет! мне не надобно такой любви...

— Ты сумасбродишь!

— Может быть; но в душе моей я чувствую что-то непонятное мне самой. Послушай: говорят, что цветы не живут полною жизнью,

что они только растут. Я не верю этому. Всякий раз, когда я смотрю на мои цветы, когда запахом их навеваает ко мне ветерок, когда притом птичка так весело напевает мне своим голоском, — тут отзывается душа какая-то, душа в цветах, в звуках — говорю я самой себе. Шиллер знал эту душу цветов и звуков. Он говорил о ней, а у людей я этого не вижу! Когда цветок так нежно высказывает мне жизнь свою, когда птичка так мило выпекает ее мне — как же должны бы высказывать, выражать ее люди, когда им бог дал глаза и слова! Какова бы должна быть любовь людей! Мне кажется иногда, что я создаю себе кого-то, какое-то привидение, из всего, что очаровывает меня в природе; я даю ему образ человеческий, передаю ему свою душу — он мне больше, нежели подруга — он друг мой — нет! еще больше: он так любит меня, что друг так любить не может... и я не знаю, как назвать его...

— И это привидение, верно, походит на мужчину, а не на подругу?

— Ах, да! Но не смейся надо мною: оно не походит ни на одну подругу мою; уверяю те-

бя, что оно не походит и ни на одного мужчину, каких я знаю. У него глаза светятся небом; у него щеки алеют, как заря; он не говорит мне ничего, а я все понимаю.

— И мой Теобальд точно таков!

— Ах, нет! Он не таков! Твой Теобальд говорит тебе, как говорят другие мужчины — ты не он, а он не ты! Мое привидение такое воздушное, что я дышу им, и если бы надобно мне было говорить с ним, я называла бы его я, а себя ты! Он жил бы моею жизнью — он умер бы, когда не видал бы меня с собою... — Эмма понизила голос. — Он не уехал бы в Саратов, не пожалел бы своего кашля и не писал бы ко мне "вы"! Я разлюбила бы его за все это, а без любви моей он не мог бы существовать. Его создала любовь моя, и с смертью моей любви — умрет он!

Фанни невольно задумалась при словах подруги.

— Милый друг! ты мечтаешь! — сказала она. — Того, что создаешь ты себе в воображении — нет в мире. Но любовь моего Теобальда прекрасна; она совершенно счастливит меня...

— Что это за любовь, Фанни, если ты могла существовать прежде, не зная любви своего Теобальда! Прости меня, Фанни, — я люблю тебя и не хотела огорчать; но ты сама спрашивала меня — я все сказала тебе. Видишь ли, отчего письмо твоего жениха холодит меня, как кусок льду, отчего мне так тяжело смотреть на людей, особливо на мужчин, с их дерзкими взорами, с их любовью, такую грубою... Нет! мне не надобно такой любви!

— Но тебя отдадут замуж, и, может быть, за того молодого гусара, который говорил с нами, когда мы были на вечере у М\*\*\*. Он от тебя в восторге — он же такой хорошенький!

— Я никогда не отдам ему руки своей. Дедушка не станет принуждать меня. Этот гусар надоел мне ужасно: он всякий день ездит мимо нас и глядит к нам прямо в окна. Неужели он любит, когда может глядеть на меня, как будто на хорошенькую куклу, и еще прямо, разглаживая свои усы и щеголяя лорнетом? Урод! Нет! ваши люди, ваши мужчины мне не нравятся... Если бы можно было мне отказаться вовсе от света, когда не будет дедушки и бабушки, и если бы я была русская, я — по-

шла быть может быть, в монахини. Там святая вера наполнила бы всю мою душу, так наполнила, что все привидения были бы из нее вытеснены... Если бы я могла полюбить здесь кого-нибудь на земле, — Фанни! я умерла бы: кто поймет мою любовь, когда я сама ее не понимаю? Фанни! я чувствую, что мне не жить здесь долго; о счастье я и думать не смею: люди не знают счастья, и мне кажется, что все шепчет мне: Эмма! тебя ждут в родной стороне! Ты здесь пришлица! Не люби так, как любят люди! И небесный дождь, когда он падает на землю, делается грязью...

Тут снова слышались пронзительные звуки, каких прежде испугалась Фанни. Теперь можно было яснее расслушать, что это были отчаянные крики человеческие. Эмма снова задрожала.

— Что это такое, Эмма? Уже в другой раз мне это слышалось!

— А я всякий день слышу, и мне кажется, что судьба моя откликается ими, когда я спрашиваю у нее: есть ли на земле счастье для Эммы?

— Растолкуй мне, что это такое?

— Это кричит сумасшедший.

— Какой сумасшедший?

— Разве ты не слыхала, что у соседа нашего, князя С\*\*\*, года два тому сошел с ума его сын?

— Да, такая жалость! Говорят, он был прекрасный молодой человек.

— Я его никогда не видала. Князь всегда жила в Петербурге и до приезда в Москву с сумасшедшим сыном долго жил еще в своей деревне: Только прошедшею зимою поселился он у нас по соседству, в своем доме. Сына его взялся лечить какой-то ученый доктор, выписанный из Берлина. Но успеха нет. Молодого князя поселили с самой весны в садовом павильоне; говорят, он беспрестанно приходит в бешенство и всегда прикован на цепи. Он кричит иногда так отчаянно, что у нас, особливо поутру и в вечеру, все бывает слышно.

— Какой ужас!

— Что за ужас? Сначала я сама пугалась его крика, а теперь привыкла, хоть невольно содрогаюсь каждый раз, когда услышу этот ужасный крик. Мне все кажется, что этого

бедного молодого человека мучат, мучат за то, что он был лучше других людей, и он просит пощады у бесчеловечных, а его не слушают.

— Это расстроит меня на целый день, Эмма, — и твой разговор притом... — Фанни задумалась и тихо промолвила: — Да, можно бы любить иначе, нежели любит мой Теобальд. — Она соскочила с скамьи. — Пойдем в комнаты! — сказала она с принужденною усмешкою и потащила с собою Эмму по садовой дорожке.

### III

Прошло несколько дней после разговора двух подруг, и опять задумчиво, с неопределенною мечтою Эмма гуляла в садике своего дедушки. Прекрасен был день, ясно было небо; любимцы Эммы, цветы, казалось, хотели сказать ей: "Будь весела, наша милая Эмма! о чем ты грустишь? Посмотри: мы ожили твоим старанием. Повеселей же, наша Эмма!"

Но Эмма ничего не слыхала, ни на что не смотрела; она сидела с своею работою в беседке, иногда устремляя взор на любимую грядку

цветов подле беседки, где великолепно цвел теперь василек и, казалось, гордился между другими цветами, как будто хотел сказать им: "Меня любит Эмма!"

Вдруг необыкновенный шум привлек внимание Эммы. Она глядит — нет! она не ошибается: среди ясного полудня не являются привидения! Но что же это такое, если не привидение? — Сверх каменной ограды отделявшей княжеский сад от садика дедушки Эммы, появилась растрепанная голова: рука чья-то уцепилась за верх ограды: это человек — он лезет на ограду; с руки его перемахнулась в садик железная цепь... Другую рукою ухватился он за ограду — другая цепь повисла на ограде. Он останавливается, глядит назад, оборачивается в садик; бесчувственно глядит он потом на солнце, на небо, на деревья, на цветы...

Эмма хотела бежать — холодом обдало ее; ноги ее подкосились. Беги, Эмма! беги, моли своего ангела-хранителя спасти тебя! Нет! силы оставляют Эмму! Ужас лишает ее возможности бежать; она не в бесчувствии, но как будто гремучая змея глядит на нее и очарова-

нием глаз своих уничтожает у нее даже самую мысль двинуться с места.

Внимательно, не понимая сама, что делает, Эмма устремляет взоры свои на незнакомца; не может отвести от него глаз своих. Она видит ясно, что это какой-то молодой человек: он одет в сюртук, глаза у него голубые, волосы русые, но — великий боже! какое лицо — бледное, худое, какие глаза — дикие, мутные! Волосы его всклоочены, падают на плеча, нерасчесанные, в беспорядке; на руках его цепи; платье его разорвано. С минуту держался он за забор и глядел назад, в сад княжеский. Вдруг в саду княжеском раздался голос: "Вот он! ловите его!" Лицо незнакомца обезобразилось судорогами. Держась одною рукою за ограду, он схватывает другою какую-то огромную палку, взмахивает ее и кидает в сад княжеский. В одно время раздался в саду пронзительный вопль, и с ним смешался безумный хохот незнакомца! Быстро вскакивает он на ограду с криком, с диким хохотом прыгает в садик дедушки Эммы, мгновенно поднимается, кричит, бежит исступленно, перепрыгивает через кусты, топчет грядки цве-

тов и, стремится прямо к беседке, где сидит Эмма...

После первого мгновения бесчувственного, безотчетного страха. Эмма поняла, что страшный незнакомец должен быть молодой сумасшедший князь С\*\*\*, что, вероятно, он вырвался из рук своих зрителей, и — пронзительный вопль, слышанный ею в княжеском саду, означал, может быть, убийство приставленного к нему человека, что он теперь бежит в неистовстве, в бешенстве — сумасшедший, безумный, убийца! Еще раз мысль о спасении мелькнула в голове Эммы, но она не в силах пошевелиться с места...

И поздно! С безумным воплем он стремится прямо в беседку; нога его топчет и уничтожает милые васильки, любимцы Эммы, цепи его глухо ударились о беседку — бежать нельзя! Безумец загородил собою вход, мутные глаза его пробежали по маленькому пространству беседки и устремились прямо на Эмму. Еще мгновение — он растерзает, задушит Эмму своими иссохшими руками. Вид человека приводит его в бешенство; он видит в нем своего врага, и бессмысленное выраже-

ние лица его переходит в ярость — одно чувство, оставшееся ему от прежнего состояния человеческого. Злость человека и сила зверя — удел безумия...

Мысль о смерти была первою мыслью Эммы, но — какую чудную перемену ощущает она в себе? Неужели после того, когда человек вместит в груди своей всеобъемлющую мысль смерти, все ничтожное, все земное, все, что делало его братом червю земли, — исчезает в нем, и он, свободный, вольный в ощущениях и поступках, переходит к тому, что носит на себе знамение неземного, только к тому, что бесконечно и необъятно, как небо, говоря земле, подобно пери, улетающей в растворенные врата рая: "Прости, земля"?

Эмма вдруг теряет весь страх свой, все свое опасение: в безумце, который стоит перед нею, виден ей не сумасшедший убийца, но бедный больной, страждущий, слабый человек, и сквозь его обезображенное болезнию и страданиями лицо светлеет для нее какой-то прекрасный юношеский образ, не страшный, но как будто умоляющий ее о пощаде, о спасении: падший ангел, еще не вовсе утративший

следы своего небесного происхождения. В самой себе она чувствует необыкновенную, непонятную для нее перемену, как будто до нее коснулся волшебный прутик какого-нибудь Просперо, и вместо крови потекло по ее жилам что-то горящее, пламенное и стало брызгать лучами света и огня из глаз ее — и глаза ее засветились этим непобедимым светом, и руки ее сделались проводниками небесных огней, которыми гремят небеса; и эти молнии, тайно, невидимо от взоров людских, ввились во все сокровенные изгибы души Эммы; кровь ее быстро закипела по всем ее жилам и отразилась на щеках ее жарким румянцем!

Смело поднялась Эмма с скамейки, на которой сидела, протянула руку и голосом, не похожим ни на повеление, ни на просьбу, ни на гнев, скоро и громко произнесла: "Кто вы? Что вам здесь надобно?"

Какое непостижимое действие произвели эти слова, этот голос на безумца! Казалось, что они сверкнули огнем, ударились прямо в грудь его, причинили ему нестерпимую боль. Дикость выражения в лице его исчезла и за-

менилась болезненным ощущением; мутные глаза его почти закрылись веками, как будто он не в состоянии был смотреть на Эмму, прежде, в безумии своем, смотревши прямо на солнце. Он ухватился обеими руками за грудь свою и со стоном произнес: "Ах!"

Теперь он уже не был тем страшным незнакомцем, который вырвал из стены крепкие цепи свои и, взмахнув тяжелую палку одною рукою, убил своего приставника. Он несчастный, больной, слабый юноша, лишенный единственного дара божия, которым человек отличен от животного; он меньше, нежели зверь: он сумасшедший!

Эмма видит изменение лица его; непобедимое чувство сострадания заступает в ней место страха и ужаса, заступает невольно, не спрашиваясь ее рассудка. Более: ей кажется, что этот бедный безумец как будто знаком был ей давно, что она где-то знавала его, что вопли его, издавна слышанные ею, были призывным кликом: "Эмма! спаси меня!" Он едва держится на ногах, и Эмма бросается к нему, хочет поддержать его, говоря: "Что с вами сделалось?" Но едва рука ее коснулась незнаком-

ца, колена его дрожат, он падает перед Эммою и, закрывая глаза руками, говорит жалобным голосом: "Пощади меня; не мучь меня — я не виноват! Они терзали меня нестерпимо!"

Эмма не понимала, что ей делать. Она решилась удалиться, сказать дедушке, призвать людей, ибо вовсе не знала, как должно обходиться с сумасшедшими. Что она теперь одна в саду с неизвестным ей мужчиною — ей вовсе не приходило этого в голову: она видела не мужчину, но какое-то жалкое существо человеческое, покорное ей, просившее у нее пощады. Только мысль о том, как и чем пособить бедному страдальцу, заняла всю ее душу. Она решилась, однако ж, идти из сада. Но едва Эмма сделала один шаг, сумасшедший стал перед нею на колена, сложил руки на груди, тихо промолвил: "Не уходи, не уходи — побудь здесь!" — и в бессилии упал он на траву.

Эмма испугалась, опять подошла к нему, наклонилась и заботливо спрашивала:

— Что с вами? Скажите, что с вами случилось?

— Мне больно — здесь (он указал на грудь) — и здесь больно (он указал на голову)! Не уходи — без тебя они придут и возьмут меня...

— Нет! они не придут; скажите, что вам нужно?

— Ничего, ничего! Приложи руку твою к моей голове; слышишь ли, как она болит у меня?

Эмма приложила руку свою к голове безумца. Он дышал тяжело, но вдруг открыл глаза, и улыбка — может быть, давно небывалый гость — оживила лицо его. Вдруг он приподнялся, сел на траве и тер глаза руками, говоря:

— Мошки, мошки! Они лезут мне в глаза, отгони их!

Эмма стояла подле него и начала махать платком, опасаясь раздражить сумасшедшего своим непослушанием.

— Нет! рукой, рукой, — говорил он, — сделай милость, махни рукой, а не этой тряпичей: мне от нее холодно; теперь стало тепло, тепло — ясно, ясно — ах! как хорошо: мошки улетели!

В это время шум нескольких голосов раздался подле садовой калитки. Эмма оборотила голову и увидела дедушку. В своем колпаке и халате старик спешил в садик и бежал по дорожке; за ним поспешно следовали трое или четверо незнакомых людей, один из них был одет в княжеской ливрее. Эмма поняла, что княжеские слуги пришли за сумасшедшим, и испуганный дедушка бежит к ней на спасение, услышав об угрожающей ей опасности. Мысль о спасении и страх снова взволновали всю душу Эммы, едва увидела она дедушку и княжеских людей; она в то же мгновение почувствовала и то, как неприлично ей было оставаться в саду одной с неизвестным человеком и как опасно быть с сумасшедшим.

В одно мгновение бросилась она от бедного безумца, как молния, достигла до своего дедушки и трепеща прижалась к его груди.

— Ох! милый друг мой! — говорил старик, едва не задыхаясь и обнимая Эмму, — как я испугался! Не испугал ли он тебя? Какое несчастье! Можно ли было предвидеть!

— Успокойтесь, милый дедушка! Я испуга-

лась немного; но он такой смиренный; он ничего мне не сделал.

— Слава богу! Его сейчас возьмут княжеские люди! Пойдем скорее домой. Как ужаснули они меня своими рассказами: прибежали опрометью, говорят, что сумасшедший убежал в наш садик, что никогда еще не был он в таком бешенстве — сорвался с цепи, ушиб своего приставника...

— А не убил, дедушка?

— Нет, только ушиб больно: бросил в него палкой с размаха; других людей на тот раз не было при нем... — Старик спешил вести Эмму, но страшный крик остановил их и заставил оборотиться.

Едва удалилась Эмма от сумасшедшего, он громко вскричал:

— Где же Тот, кто был здесь со мною? Казавшись прежде слабым, изнеможенным, он как

будто вдруг получил опять всю свою неистовую силу; глаза его помутились, волосы стали дыбом; он вскочил и, увидя подходящих к нему княжеских слуг, страшно заскрежетал зубами.

— Ваше сиятельство, — сказал один из слуг, — пожалуйста домой.

Сумасшедший смотрел на него молча.

— Не извольте противиться, — сказал другой слуга. — Их сиятельства приказали вам пожаловать домой.

Сумасшедший захохотал. По знаку, данному старшим из слуг, трое вдруг бросились на безумца и схватили его. Он закричал раздирающим душу голосом, и не успели оглянуться, как двоих сшиб он с ног и отбросил от себя далеко, третьего схватил он за горло, повернул через себя, придавил его к земле и со смехом начал душить. Старый управитель отчаянно завопил:

— Ванюша, Ванюша! он задушит его! Помогите, помогите, ради господи помогите!

Старик не смел броситься сам, только кричал:

— Люди, люди! — и совершенно потерял голову.

Двое других слуг едва могли подняться и не в состоянии были помочь своему товарищу. Дедушка Эммы громко читал "Vater unser" [9] и не знал, что ему предпринять: бежать

ли, помогать ли?

А Эмма? Весь страх, вся робость, какую чувствовала она, снова вдруг исчезли. Она вырвалась из объятий дедушки, безотчетно бросилась прямо к сумасшедшему и вскричала:

— Что вы делаете, князь?

Непостижимое изменение! Сумасшедший оставил слугу, которого душил руками, и робко поднялся с земли, потупил глаза, сложил руки. Эмма казалась божеством, перед которым уничтожаются его злость и сила. Дедушка, изумленный ее неожиданным поступком, признавался потом, что в это время он не узнал своей кроткой, тихой Эммы, что лицо ее засветилось чем-то неестественным, что, оживленная чем-то непонятным, она, с своим скромным, нежным лицом, своею легкою талиею, когда в то же время в быстром порыве ветерок сорвал с груди ее легонький платочек, — походила на одного из Клопштоковых бессмертных духов. Старик любил читать "Мессиаду" и очень любил свою Эмму: не удивляйтесь его уподоблению.

— Сядьте здесь и будьте спокойны! — про-

должала Эмма, все еще сама не понимая, что говорит, но смело указывая сумасшедшему на дерновую скамейку. Он безмолвно повинился.

— Можно ли так бесчеловечно поступать! Вы убили бы этого бедного человека!

— Убил? А что такое "убил"? Они били меня, они мучили меня! — Сумасшедший заплакал, как дитя. — Я не стану драться, — продолжал он, смотря на Эмму, — если ты этого не хочешь, — только не сердись.

— Как можно хотеть убивать людей! Но сидите же спокойно.

— Но не уходи же от меня, — сказал сумасшедший, протягивая к ней руки, — и не вели им меня трогать.

— Будьте только смирны.

— У меня опять заболела голова. Дай мне свою руку — вот здесь у меня болит! — Он протянул свою руку к Эмме; она бестрепетно дала ему свою руку, и он приложил ее к голове.

— Лучше ли вам теперь?

— Лучше. — Он отнял руку Эммы от головы своей и с улыбкою, внимательно рассмат-

ривал эту милую, нежную ручку.

В изумлении от всего происходившего стояли дедушка и слуги княжеские. Дедушка тихонько подошел к Эмме и дернул ее за платье. Эмма оглянулась.

— Эмма! что ты делаешь! Отойди от него, пойдем домой! — сказал дедушка.

— Как же оставить его? — отвечала тихонько Эмма, печально улыбаясь. — Вы видите, что он только меня и слушается.

— По-немецки говорит! — сказал сумасшедший, улыбаясь и указывая пальцем на старика.

Эмма отняла у него свою руку; управитель и слуги осмелились опять подойти ближе. Эмма отступила.

— Ваше сиятельство... — произнес управитель.

Одной рукой сумасшедший ухватился за беседку, и она вся затрещала от его усилия выломить из нее палку. В ужасе отбежали слуги княжеские. Эмма снова произнесла:

— Вы обещали быть спокойны, — и сумасшедший сел на скамью, будто послушливое дитя.

— Как же мне уйти отсюда? — спросила Эмма у дедушки.

Слуги подошли к старику.

— Ваше высокоблагородие! — сказал ему тихо управитель, — позвольте мне доложить об этом их сиятельствам. Я тут ничего не разумею, изволите видеть. Надобно позвать нашего доктора.

Но доктор шел уже в это время по садовой дорожке. Один из слуг успел его обо всем уведомить. Доктор был старый человек в синем старомодном фраке. Он отрекомендовался дедушке Эммы с старинною немецкою оригинальностью.

— Извините, любезный сосед, — сказал доктор, — а может быть, когда узнаем друг друга поближе, и любезный друг, извините, что вас беспокоил наш больной негодяй! Вы не поверите, как хитр бывает человек, когда лишится употребления рассудка. За два часа я оставил его такого смиренного; он пил лекарства и во всем меня слушался — а между тем, вообразите, что он напроказил после того!

— Объясните мне, господин доктор, что все это значит? — говорил дедушка, указывая на

Эмму, стоящую подле князя, и на князя, который смотрел на нее, улыбался, был тих, спокоен и, казалось, с жадностью глотал воздух, сделавшийся для него целебным от присутствия Эммы.

Дедушка наскоро пересказал доктору все события. Доктор угрюмо задумался, долго качал головою, долго чертил палкою по песку, наконец поднял голову и протяжно отвечал:

— Изъяснить, любезный сосед, не откажусь, но прежде всего позвольте мне, как честному человеку, уверить вас, что я не употреблю во зло вашей доверенности, и потом спросить: сколько лет вашей внучке?

— Я потерял дорогою, ехавши из Петербурга, или в Петербурге где-нибудь календарь, в котором был записан день ее рождения.

— О дне ни слова, но год...

— То-то, и года-то хорошо не знаю; должно быть, ей восемнадцать или девятнадцать лет.

— Характер ее?

— Ангельский.

— Это сказано неопределенно; судя по виду, должно думать, что характер ее холеро-меланхолический.

— Она одно утешение наше со старухой.

— Хм! утешение! И одна внучка у вас?

— У нее есть еще братья, маленькие, премилые шалуны.

— Хм! — повторил опять доктор. — Она должна быть набожна и, верно, не любит общества мужчин?

— Не знаю, к чему клонятся ваши странные вопросы, г-н доктор? Мы еще так мало знакомы.

— К тому, сударь, к тому — черт побери! Зачем вы давно не выдали замуж вашей внучки! Zum Teufel! [10] На что держать дома этот гнилой товар!

— Г-н доктор! моя Эмма ангел скромности, добродетели и невинности.

— Да я лучше вас самих могу сказать вам все это, сударь, я — ученик и друг великого Месмера! — Доктор приподнял свою шляпу. — Вы тут ничего не понимаете, а я понимаю. — Доктор утер слезу, выкатившуюся из его глаза. — Черт побери! Ведь вы желаете счастья вашей внучке? Так зачем же вы давно не выдали ее замуж?

— Г-н доктор!

— Господин сосед! потому, что вы должны были уговорить ее выйти замуж. Неба с землей мешать не надобно. На земле надобно думать о земле, и если неземное мешается там, где его не спрашивают, выходит дребедень — вы этого не понимаете, а я понимаю. Лечить можно всякой всячиной: я вылечивал чахотку от любви пилюлями из ипекакуаны; *tinctura regia* [11], Перувианский бальзам и Бюргавов сахар спасли бы дурака Вертера, и этого сумасшедшего я вылечил бы, да теперь все пропало! Теперь ведь уж нельзя их различить — он умрет! Эх, сосед, сосед! как можно позволять девчонкам гулять в садах, подле которых содержат сумасшедших!..

Доктор с досадой стукнул своею палкою в землю и подошел ближе к сумасшедшему. Он пристально начал глядеть на сумасшедшего и на Эмму. Эмма потупила глаза и покраснела бы, если бы щеки ее, от солнца, от всего, что было, и от сильного внутреннего движения, давно не горели, как полымя.

— Ну! так! Все признаки, — точно так... — сердито произнес доктор.

Сумасшедший заметил доктора. Эмма ото-

шла в это время от него. Взор безумца мрачился и темнел.

— Вы опять принялись за ваши дурачества, — сказал доктор князю, — стыдитесь, князь, стыдитесь!

Сумасшедший сжал кулаки.

— Не нужно сжимать кулаки, — вскричал доктор. — Я велю посадить вас в узкий мешок и капать вам водой на голову!

Сумасшедший готов был вскочить с скамейки.

— Можно ли так жестоко обходиться с ним? — сказала Эмма, обратив умоляющий взор на доктора.

— Прошу покорно: жестоко обходиться! Ласкайте, ласкайте его; вы еще не знаете, что значит человек сумасшедший; а не сумасшедший еще хуже, хуже во сто раз, говорю я вам! Вы этого не понимаете, а я понимаю.

Глухое рыкание послышалось в груди сумасшедшего.

— Теперь все мое лечение пошло на ветер по вашей милости! — вскричал доктор.

Заметив желание сумасшедшего броситься на доктора, Эмма оборотилась к нему и на-

помнила обещание быть спокойным.

— Позволь мне убить только этого, — шептал ей сумасшедший, робко указывая на доктора. — Он всех больше меня мучит. Я убью его так, что никто этого не увидит, и потом опять буду смирен, как тебе угодно.

Неужели только страх наказания или выдуманные человеком приличия заставляют несумасшедших не говорить того вслух, что говорит человек в безумии? Или с потерей ума человек теряет божественную половину свою, и тогда только оставшая половина его — зверь — остается в нем, и кровожадность тигра является в человеке ничем неукротимая? Гнев не есть ли сумасшествие на минуту? Не знаю; но как часто человек с умом мыслит то, что, лишенный ума, говорит он вслух! Загляните в душу свою без свидетелей, и — вы содрогнетесь!

— Сударыня! велите ему остаться спокойным и скажите, что вы пойдете уговаривать меня не мучить его; потом, пожалуйста, подойдите сюда, ко мне. Без этого он тотчас убьет меня, — сказал хладнокровно доктор.

Доктор говорил по-немецки; сумасшедший

тщательно вслушивался в слова, не понимал их и с досадою потряхивал головой.

— Будьте же спокойны, сидите здесь; я пойду уговорю его помириться с вами; видите, какой он сердитый, — сказала Эмма безумному.

— Ты уйдешь, — отвечал он, — и опять они возьмут меня. Ах! ты не знаешь, как они меня мучат! И все говорят мне, что я сумасшедший! — Он взял Эмму за руку; слезы наполнили глаза его. — А я совсем не сумасшедший. Ты видишь, что мне с тобою хорошо; я стану делать все, что ты мне велишь, только не оставляй меня! — Он стал на колени и держал Эмму за руку.

Сердце девушки замирало от ощущений, дотоле ей неизвестных и теперь непонятных. Она снова уговаривала безумца, и он остался неподвижен, на коленях, на своем месте, глядя на удаляющуюся Эмму. Так глядел он на нее, как будто все существование, вся жизнь его заключались в ней.

— Сударыня, — сказал ей доктор, — нет надобности изъяснять вам как, но только одно скажу: вы приобрели теперь полную власть

над этим несчастным молодым человеком. Пользуйтесь своею властью, и вы вылечите его непременно. Начинайте теперь же ваше дело.

— Господин доктор! вы смеетесь надо мною! — сказала Эмма. — Что я за лекарка!

— Ну, ну! — вскричал доктор нетерпеливо, — я не умею по-вашему изъясняться и не стану говорить вам: будьте его ангелом-хранителем! Ангелов на земле нет; да и какой вы ангел? Вы женщина, из костей, крови и мяса...

— Господин доктор!

— Госпожа женщина, а совсем не ангел! прошу не сердиться! Угодно ли вам лечить его?

— Если бы я и могла, то надобна воля дедушки...

— Дедушка вам тут значит меньше нуля, поставленного к единице с левой стороны. Надобна ваша воля.

— Я не понимаю.

— И не нужно понимать! Много наделали бы люди, если бы понимали все, что делают!

— Что же мне делать?

— Пожелайте выздороветь ему, так пожелайте, как вы желаете себе царства небесного, как вы любите вашего дедушку.

— О! больше, больше, если надобно... — Эмма смешалась, когда невольно вырвались у нее эти слова. — Я буду молиться об этом каждый день, мыслить каждый час!

— Доброе создание! — сказал доктор, крепко сжимая ей руку. — Воля человека в молитве непобедима. Это... Но вы не поймете меня! Читали ль вы Библию? Помните ль слова его, того, кто сам сходил на землю для страдания: "Aber ohne deinen Willen wolke ish nichts tun, auf dafi dein Gutes nicht ware genbthiger, sondern freiwillig" ("Без твоей воли ничто же восхотел творити, да не аки по нужде благое твое будет, но по воле")?

— Ах! Г-н доктор! что значит моя воля!

— То, чего никто в мире превозмочь не может. Поведите меня к нему, положите руки ваши ему на голову и три раза проведите ими от головы до сердца — то есть от первого главного зла человеческого до другого, еще худшего, Потом скажите ему, что я желаю ему добра; смотрите ему прямо в глаза; велите

ему ехать домой и пожелайте здоровья.

— Я буду желать и молиться об этом.

Эмма исполнила слова доктора. Сумасшедший все еще стоял на коленях. Она подошла к нему и положила руки на его голову.

Если только может быть в человеке чистая, святая воля на добро, в это мгновение молитва к богу, какую в душе своей произнесла Эмма, молитва, в которой, забыв самое себя, она преобразилась в одно небесное желание добра, — эта молитва могла силою воли душевной сдвинуть горы и сбросить их в океан, как легкие песчинки! Будто непорочный ангел, коснулась Эмма — в первый раз в жизни — сердца мужчины и слышала под рукою своею его трепетание; но она не стыдилась и не краснела: она не глядела тогда на мужчину, сердце которого билось под ее рукою; взоры ее устремлены были на небо, где бесконечная, светлая лазурь казалась ей лазурью ока неизмеримого, пред коим пролетают века, как пыль, ветром свеваемая, и вселенная ветшает, как бедная риза, но оно вечно и неподвижно устремлено на века и на вселенную.

— Твои руки жгут меня, — прошептал су-

масшедший. — Но сожги, сожги меня — мне так хорошо!

Дикий взор его угасал постепенно; он поднялся с земли и повел рукою по глазам, как будто снимая с них что-нибудь.

— Вы должны любить этого человека и слушаться его, — сказала Эмма, указывая на доктора. Сумасшедший робко взглянул на него.

— Пойдемте со мною, — сказал ему доктор ласково, — вам теперь и со мною будет хорошо.

Сумасшедший взглянул на Эмму, как будто спрашивая: велишь ли ты мне идти с ним?

— Да, идите с ним, — промолвила Эмма тихо.

Доктор взял безумца за руку, повел его и наткнулся на платочек, упавший прежде с груди Эммы. Он наклонился, поднял этот платочек и спросил у Эммы:

— Ваш ли?

— Ах, мой! — вскричала Эмма смешавшись.

— Возьмите его в руки и потом повяжите его на левой руке больного. Да не дурачьтесь

же: извольте делать, что я говорю. — Неужели вам жаль этого дрянного лоскутка, если вы не жалеете всей своей воли для его здоровья? Знаете ли, чем вы, сударыня, жертвуете для него?

Эмма не отвечала ни слова и повязала платочек свой на руку сумасшедшего. Доктор повел его к калитке садика. Безумный не противился, но казалось, что он едва может идти; голова его тяжелела, глаза закрывались, ноги едва двигались. У калитки садика уже стояла великолепная карета княжеская; два высокие лакея в богатой ливрее растворили дверцы. Сумасшедшего почти на руках внесли в карету. Доктор сел с ним и, садясь, оглянулся на Эмму и на ее дедушку, неподвижно стоявших в садике; он усмехнулся, ласково махнул рукою. Дверцы кареты захлопнули; лакей закричал: "Пошел домой!", и карета загремела и быстро укатилась за ворота.

Эмма все еще стояла неподвижно. Что она думала? Не знаю. Дедушка подошел к ней, ласково обнял ее и заботливо спросил: "Ты вдруг так побледнела, моя Эммочка; что с тобою сделалось? Ты верно чувствуешь себя

нехорошо? Пойдем, прими поскорее раковых жерновок!"

Эмма прижалась к дедушке, опустила голову на грудь его и заплакала.

— Эмма, милая Эмма! — говорил ей дедушка. — Вот и старушка наша возвратилась из города. Пойдем к ней.

Тихо повел он Эмму. Русые локоны девушки переплетались с седыми волосами старика, и слезы юности падали на грудь его, среди разрушений времени вполне сохранившую чувство добра и любви к милым ему людям.

## IV

**В** огромной диванной своего великолепного княжеского дома сидела княгиня С\*\*\*. Комната была богато убрана и превосходно меблирована. Стены ее были красиво драпированы красным сукном с золотыми подборами. Против княгини, подле окна, сидел и глядел в окно на обширную Москву супруг княгини, князь С\*\*\*. Он был в шелковом большом шлафроке. Впрочем, трудно было решить, что его занимало более: вид ли Москвы или пара болонок, которые прыгали, кусались и играли

в комнате? Князь кликал их, бранил, ласкал, брал к себе за пазуху, ссорился, мирился с ними. Княгиня не принимала участия в его занятии, сидела подле столика, гоняла от себя собачонок, когда они подбегали к ней, и казалась весьма недовольною. Две колоды карт лежали перед нею на столике; княгиня не трогала их. Наконец она громко позвонила. Вошел лакей.

— Ну? — сказала она вошедшему лакею.

— Они изволили возвратиться, — отвечал лакей.

— Так что ж ты не зовешь его ко мне? — вскричала княгиня так сердито, что лицо ее покраснело от досады.

— Докладывал; изволили пойти к его сиятельству; сказали: приду.

— Поди же, попроси его пожаловать ко мне скорее, да учтивее говори, болван! — закричала княгиня. Лакей ушел.

— Матушка, — тихо проговорил тогда князь, зажимая рот собачке, залаявшей от громкого восклицания княгини, — ты испугала моего Коко!

— Мне кажется, князь, этот гадкий Коко за-

ставляет вас забывать, что кроме его есть что-нибудь на свете.

— А что же такое есть еще на свете? — спросил князь, в недоумении поднимая голову.

— Например, у вас есть единственный сын, и этот сын болезнью своею ведет ко гробу вашу жену.

— Вы знаете, княгиня, что я не люблю говорить об этом печальном предмете.

— Потому что вы эгоист, и если бы сын ваш скорее умер, вы порадовались бы этому как избавлению от скуки!

— Лучше умереть, княгиня, нежели остаться без ума.

— Однако ж есть примеры людей, в чинах и богатстве, вовсе лишенных ума. — Княгиня насмешливо взглянула на князя.

— То есть, не одаренных большим умом? Хотите вы сказать, — отвечал князь, как будто не понимая намека княгини. — Они не сумасшедшие однако ж. Большой ум опять зло, и очень большое зло. Знаете ли, что я опытом узнал это?

— Не на себе ли самом?

— Нет! на чиновниках и людях, с которыми случилось иметь дела в жизни. Поверьте мне...

— Замолчите, сделайте милость! — прервала с досадою речь его княгиня. Князь испугался, молчал с минуту, потом опять старался завести разговор.

— Ты не поняла меня, mon amie, — начал он тихо и ласково, — я сказал, что лучше пожелаю смерти моему милому Полю, нежели соглашусь видеть его на всю жизнь сумасшедшим.

— И вы говорите об этом так хладнокровно, как будто речь идет о вашей гончей собаке? — вскричала княгиня.

— Надобно философически смотреть на вещи. Вы знаете правило Гельвеция...

— Я знаю одно, что только сердце матери способно чувствовать и оценить потерю сына.

— Но разве мы не приняли всех мер, mon amie? Наш доктор...

— Ваш доктор — пустой ученый говорун!

— Помилуйте: его европейская слава, письма Гуффланда, рекомендация Франка и Абер-

кромби...

— Вся ваша Европа дура!

— Но я сам говаривал с ним...

— Вы, сударь, бесчувственное создание!

— Но, вы сами, княгиня...

— Что же я разумею в их глупой науке, в этой медицине? Одно вижу я, что все доктора обманщики и нас дурачат.

Князь не отвечал, как будто решительный тон княгини убедил его в истине всего, что говорила княгиня. Он начал глядеть в окно и напевал вполголоса:

*Dans ta cabane obscure  
Toujours soucis nouveaux;  
Vent, soleil, ou froidure,  
Toujours peine et travaux! [12]*

В это время слышались в другой комнате тяжелые шаги доктора. Приближение его произвело чудное действие на княгиню: она поправила свою шаль, небрежнее села на диван, улыбка вдруг появилась на лице ее и, как будто веселою маскою, закрыла всю ее досаду. Никто не узнал бы теперь в этой ловкой, светской, ласковой женщине сердитой барыни, бранившей мужа своего, доктора и всю Евро-

пу за минуту прежде.

— Мой любезный г-н доктор, — сказала княгиня, — я ждала вас нетерпеливо.

— Як вашим услугам, княгиня, — угрюмо отвечал доктор. — Что вам угодно?

— Могу ли думать о чем-нибудь, кроме одного!

— Теперь в самом деле, княгиня, пришло время доказать на деле ваши слова: точно ли думаете вы только об одном, то есть о жизни вашего сына.

— О жизни? Боже мой! вы меня пугаете!

— И не думал пугать: вы решительно можете спасти его — или погубить, также решительно.

— Спасти! Говорите, ради бога, говорите, г-н доктор.

— Да! это в вашей воле. Более говорить нечего. — Доктор спокойно сел на диван и начал нюхать табак из своей огромной золотой табакерки.

— Сжальтесь над беспокойством матери, скажите скорее!

— Но я не имел еще чести слышать вашего ответа на первые мои слова.

— Чего пожалеем мы для нашего Поля! Деньги — все что вам угодно!

— А если бы это стоило пол-имения вашего?

— Г-н доктор! я не понимаю...

— А, кажется, очень понятно: если бы это стоило пол-имения, сказал я. Дело идет не о таком лечении, где говорится только о возможности вылечить, — нет! Сын ваш через полгода непременно будет здоров, как первый едок лондонского бифштекса и первый боксер смитфильдского рынка, или вы можете сказать мне в глаза, что я величайшая скотина, и приказать вашим лакеям вытолкать меня в шею!

— Ваша услуга будет оценена во что вам угодно.

— Моя услуга уже оценена тем, что вы мне договорились платить и платите. Больше мне ничего не надобно. Понимаете, княгиня: ни одного талера лишнего! Не обо мне тут дело. И разве мог бы я сказать о самом себе, что вылечу наверное не только сумасшедшего вашего сына, но даже одурелую кошку?

— Я вас не понимаю. И без этого я хотела

спросить вас, что значит нелепое происшествие, о котором рассказывал мне управитель? Что это за немка? Что было в саду у нашего соседа? Мне крайне неприятна история, где может быть вмешано наше имя. Доктор молчал.

— Я хотела видеть сына моего, пошла к нему и увидела его спящего, накрытого каким-то женским платочком. Мне сказали, что он спит уже двенадцать часов сряду и вы не велели его трогать.

— Но, мой друг, — сказал князь, — разве ты не побоялась идти к нему в павильон?

— Вы ничего не знаете: он переведен теперь в свои комнаты.

— Как? Он здесь — в комнате? Но его припадки ужасного бешенства? — Доктор молча взглянул на князя. — Я говорю об опасности припадков его, — сказал князь в замешательстве. — Вы полагаете, что пребывание его здесь не опасно? — с робостию прибавил князь.

Доктор не хотел ничего отвечать ему, оборотился к княгине и смотрел на нее пристально.

— Если бы не лекарь явился, но сделалось чудо, и ангел божий слетел на землю для исцеления вашего сына, — согласитесь ли вы наградить его всем, чего только он потребует?

— Странные речи, г-н доктор! Вы шутите, когда я совсем не расположена шутить.

— Читали ль вы, г-н доктор, сочинение шалуна Аруэта? "Examen important de Milord Bolingbroke, ou le tombeau du Fanatisme" [13] ? — спросил князь усмехаясь.

— Читал: мерзость, о которой не стоит труда говорить. Разрешите же, княгиня, мой вопрос?

— В наш век, любезный доктор, не верят и старинным чудесам, не только не видят их вновь, — промолвила княгиня с принужденною улыбкою.

— Но если бы чудо сделалось с вашим сыном? — с жаром возразил доктор. — Вы все еще молчите? Так оно уже сделалось! — вскричал доктор, с досадою поднявшись с дивана, — сделалось: ангел слетел с неба. Умейте оценить его, люди, кто бы вы ни были, князья или мужики! Великий Месмер! Друзья

мои — вы, Жюсьё, Бекман! для чего нет вас здесь!

— А! я был у Делона в бытность мою в Париже и видел его магнетические ванны и гальванические кондукторы — это очень любопытно! — сказал князь.

— Вы смотрели без веры, а надобно не видеть, но верить: иначе чудес нет на свете! Ради бога, увольте меня от вашего Вольтера, князь: для вас довольно знать, что сын ваш выздоровеет. А вам, княгиня, как матери, и мне, как честному человеку, надобно более. От вас зависит спасение вашего сына и того ангела, который прилетел к нему для его спасения!

— Пожалею ли я чего-нибудь!

— Не в деньгах дело, не их требуют! Явился лекарь, который лечит сына вашего своею душою, своим бытием. Жизнь и смерть положены на весы вашего решения. Если вы безусловно не отдадитесь доверенности, если вы хоть мысленно воспротивитесь тому, что непостижимо для нас, чего ум наш не умеет понимать, — сын ваш погиб! Смерть — средины нет! Но так же верно и совершенное его

спасение, при согласии и доверии вашем.

— Ах, г-н доктор! сделайте милость, поступайте как вам угодно! Но кто же этот спаситель моего бедного Поля?

— Та немка, о которой управитель говорил вам. — Доктор опять сел спокойно на диван.

— Она лекарка?

— Лекарка! Да, лекарка, если вам это угодно.

— *C'est quelque chose d'empirique*, [14] — промолвил князь невнимательно. — Впрочем, надобно испытать все. Только не опасно ли лекарство?

— Больше нежели опасно: оно яд самый сильнейший, какой только существует в мире! Сама лекарка подвергается опасности умереть и уморить больного в одну минуту.

— Как же вы хотите отдать моего сына такой шарлатанке? — сказала княгиня с неудовольствием. — Вы взялись лечить его, и ваши знания ручались за вас...

— Лечить взялся я, но не вылечить. Мои знания — вздор, нелепость, дрянь! А она ручается вам своею жизнью... И как растолковать вам это? Верите ли вы хоть чему-нибудь, кня-

гиня?

— Боже мой!

— Верьте же этой посланнице небес: она спасет вашего сына!

— Но изъясните ваши загадки?

— Как будто это можно! Изъясните прежде загадку души человеческой, изъясните тайну жизни нашей, изъясните земное бытие наше. Изъяснить, когда сам Месмер ничего не изъяснил!

— Стало быть, она магнетизерка? Но ведь магнетизм, я слыхала, не опасен?

— Вольно вам называть это магнетизмом!

— Но что же это такое?

— Это лечение души душею; это микстура из бытия, пластырь из сердца, порошки из жизни, смерти! Но что тут много говорить! Пойдемте к вашему сыну. Вы увидите сами и — тогда опровергайте.

— Теперь... Но, его состояние...

— Неужели и вы боитесь его?

Княгиня надвинула шаль на плеча и встала с дивана. Молча пошел перед нею доктор. Он и она вошли в спальню молодого князя. Больной спал, закрытый платочком Эммы.

Боязливо подошла к кровати его княгиня. Здесь, когда она стала близ одра скорби несчастного своего сына, — в ней исчезла светская женщина: она была матерью; слезы потекли у нее из глаз.

Доктор снял платочек, положил руку на глаза больного, повел рукою по глазам — больной открыл их.

— Встаньте — вам велели встать, если вы хотите видеть ее, — сказал доктор.

Больной бодро поднялся с постели.

— Я ее вижу, — сказал он, как будто с усилием всматриваясь, — она теперь молится и думает обо мне.

Тихий голос, кротость, какой не замечала княгиня в сыне своем с самого начала его сумасшествия, так поразили ее, что она невольно вскричала:

— Ах! вижу, вижу, что ему лучше — боже мой! ему гораздо лучше!

Больной вздрогнул и так дико посмотрел на мать свою, что она содрогнулась и отступила невольно.

— Какая неосторожность! — шепнул ей доктор. Он обратился к больному и ласково

сказал ему: — Вам не должно сердиться.

— Кто это тебе говорил? — угрюмо отвечал больной.

— Она велела.

Больной мгновенно успокоился.

— Да! — сказал он. — Но когда же опять придет она? — продолжал он, водя рукою по лбу. — Я чуть вижу ее; мне так темно, темно!

— Вам велели лечь и успокоиться. — Больной не сопротивлялся, лег и закрыл глаза. Доктор опять накрыл его платочком Эммы.

Княгиня плакала.

— Видели ль вы, княгиня? — громко сказал тогда доктор.

— Ах! тише — не тревожьте его!

— Не бойтесь. Теперь может греметь гром и его не разбудит: он очарован неестественным сном, пока его природа и сила, выше его природы, спорят между собою о нем. Видите ли вы? Верите ли вы? Еще ли надобны вам объяснения?

— Верю, хоть ничего не постигаю: Но что должна я делать? Повелевайте мною, г-н доктор.

— Вы видите то, чего никто еще не пони-

мает. Люди назвали это животным магнетизмом. Великий Месмер первый угадал эту тайну бытия всемирного. Ваш сын полсутки тому назад находился в высшей степени безумия, но теперь совершается над ним таинственный процесс магнетизма, и он в самом опасном положении. В то же время жизнью моею ручаюсь вам, что он выздоровеет. Сядьте, княгиня, и выслушайте.

Как бы это сказать вам? Самый высокий ум человеческий есть крот, выглядывающий из норы своей на вселенную. Но где человек сближается с универсальной жизнью, там он становится весь мир, вся вселенная; крот, как часть целого, есть микрокосм макрокосма. Поелику для содержимого в содержащем пространство и время исчезают, ибо из "не-я" они переходят в его "я", то посему взор наш видит сквозь море, живет в прошедшем, и воля человека непобедима, если только он обратит силу и волю свою на действие, внутри и вне себя все равно, ибо тогда природа становится частью его самого, субъектом его объекта... Чувствую, что я говорю темно; но, позвольте [15]... Любили ль вы, княгиня? Вы молчите:

верно вы никогда не любили, не знаете любви, этого совершенного уничтожения воли, не знаете субъективной жизни чужою жизнью. Жаль, жаль, что вам после этого решительно невозможно изъяснить закона, по которому человек — дух и тело, ангел и земля, великое и смешное, Кант и я, все и ничто. Вообразите, однако ж, что человек может весь перейти в универсальную жизнь; что вся его воля может устремиться на один предмет, — что тогда противостанет ему? Ему ли тогда не уничтожить собою болезни какой-нибудь? Какое сомнение! Что такое болезнь? Победа тела над духом, от которой победитель умирает. Этого победителя вдруг оковывает дух другого, переходит в него, живет одною с ним жизнью и дает ему жизнь свою. Может ли тело бороться с этим страшным противником, для которого нет ни времени, ни пространства, ни малого, ни великого и который бессмертен жизнью за гробом — следовательно, бессмертен вечно, и не только там, но и здесь: дух Сократа живет в нас, хотя плоть Сократа давно умерла и истлела! Вы этого не понимаете, потому что, извините, княгиня, вы не жи-

ли духом, ибо вы не любили, а кроме любви женщина ни в чем не может приблизиться к универсальной жизни — для нее процесс универсальности объективно совершается только в любви; а во всех других случаях она живет субъективно...

Видно было, что доктору чрезвычайно казалось трудно объяснить все то, что он думал объяснить. Он усердно отирал пот с лица.

— Г-н доктор, — сказала княгиня, — мы были знакомы в Париже с последователями Месмера. Они делали тогда много шума. Делон часто обедал у нас. Он также говаривал как вы; но мы смеялись над ним — признаюсь вам!

— И надо мной теперь смеетесь или не смеете только смеяться? Но когда же чернь не освистывала мудрости? когда поэзия не почиталась сумасшествием? когда любовь не казалась нарушением всех наших приличий? Впрочем, теперь уже поздно раздумывать: сын ваш не принадлежит ни себе, ни вам — он принадлежит тому существу, которое овладело его бытием. В воле этого существа возвратить ему разум, сделать его человеком.

Если вы, если я вмешаюсь — мы погубим его. Вы должны только повиноваться этому существу, владыке вашего сына, что бы оно ни приказало. Малейшее сопротивление — смерть!

— Боже мой! Любезный доктор! я передаю вам полную волю.

— А когда он будет здоров, когда у вас опять будет сын, а не сумасшедшее животное, когда обладающее им существо будет жить одною душою с вашим сыном, тогда, княгиня, тогда что?

— Пожалее ли я чего-нибудь для ее награды! Я готова осыпать ее золотом!

— Да что вы так дорого цените ваше золото? — возразил доктор. — Если потребуется более, нежели золото, если надобно будет жертвовать вашими предрассудками, вашею знатностью, если... Пойдите, княгиня: клянусь богом — если вы теперь скажете мне: "нет"; если вы только задумаетесь на одно мгновение, — я сорву этот платочек с вашего сына: в бешенстве встанет он, и вы первая будете жертвою его бешенства, и ничто уже не укротит его... Он погибнет!

Печально светил погасавший день сквозь шелковые занавесы. Как мертвец, лежал молодой князь на своей кровати, неподвижен, едва дыша. Княгиня сложила руки и с чувством отчаянной матери сказала доктору:

— Спасите его! Чего бы ни стоило, спасите его!

— Вашу руку, княгиня!

— Вот она!

— Совесть! довольна ли ты? — проворчал доктор самому себе.

## V

Эмма сидела в учебной комнате поутру, на другой день после разговора между княгиней и доктором; молча, задумавшись, она вязала что-то. Дедушка ее сидел в своих креслах. Вдруг щегольская карета остановилась у ворот домика.

— Друг мой, — сказала бабушка Эммы, поспешно входя в комнату, — друг мой! Княжеский лакей прибежал спросить у тебя: можешь ли ты принять княгиню, которая желает тебя видеть?

Эмма вспыхнула; дедушка с беспокой-

ством вскочил с кресла и бросил трубку.

— Княгиня? Скажи, что я за честь почитаю, где она? Дайте мне сюртук мой, приберите поскорее в комнате!

Эмма поспешно подвинула к стене столик, взяла книги, лежавшие на нем, переложила их на другой и не знала, за что приняться.

— Что же сказать лакею?

— Да просить, просить!

Карета въехала во двор, и пока дедушка надевал свой сюртук, бабушка Эммы в дверях встречала княгиню.

Просто, но богато одетая, с ласковою улыбкою отвечала княгиня на неловкие приветствия старушки. Явился дедушка, низко кланяясь. Бабушка предлагала чашку кофе. Эмма с трепетом присела и дрожала невольно, не смея глядеть на княгиню.

— Не беспокойтесь, любезный сосед, не беспокойтесь, милая соседка, — сказала княгиня. — Прошу вас быть со мною без церемоний; прошу удостоить меня вашей дружбы, вашего знакомства.

Удивительно действие богатства и знатности: им все пристало, все к лицу, как молодой

хорошенькой девушке! Княгиня успела очаровать старика и старушку своим входом и немногими словами. Светское обращение, ловкость, наряд ее, экипаж, кротость, ласковость — о! она могла приказывать им, не только просить их.

— Но где же милая ваша внучка? Ради бога, дайте мне расцеловать, обнять ее! Познакомьте нас. Это вы, милая? — сказала княгиня, нежно целуя Эмму.

Она посадила ее подле себя на диване. Робя, дрожа, с раскрасневшимися щеками, Эмма едва дышала.

Как будто желая вывести ее из замешательства, княгиня обратилась к дедушке и, не выпуская из рук своих руку Эммы, сожалела, что давно не имела удовольствия узнать лично своих почтенных соседей.

— Ваше сиятельство, — отвечал дедушка, — могли ли мы ожидать такой чести, такой благосклонности! Я еще должен благодарностью брату вашему, его высокопревосходительству (старик проговорил чин, имя и фамилию); он был директором нашего департамента, и я имел честь служить под его мило-

СТИВЫМ начальством.

— Когда же это? — спросила с участием княгиня, желая завести разговор. Старик начал подробно рассказывать, а княгиня внимательно оглядывала Эмму. Несмотря на умение скрывать свои ощущения, казалось, что она изумляется, рассматривая эту девушку. Чему дивилась она? Тому ли, что видела какое-то кроткое, доброе создание, робкое, несмелое, молоденькую мещанку? И эта девушка-мещанка была спасительницею сына ее? И это создание было загадкою, которой не мог изъяснить ей ученый доктор немецкий? От этой девушки зависела жизнь ее сына? Но чему же дивиться? — А кто из вас не дивится, видя вдохновенного поэта в обществе людей, видя, что этот поэт — какое-то робкое, несмелое, неловкое создание? Дети, дети! кто из нас не воображает себе, что великие люди должны быть какие-то исполины; кто из нас не меряет величия души человеческой саженями? За что же мы смеемся над детьми, которые представляют себе каждого богатыря, о котором читают в сказках, ростом с Ивана Великого?

— Не могу ли я быть теперь чем-нибудь

вам полезно? — сказала княгиня ласково. —  
Прошу приказывать мне.

— Ваше сиятельство!..

— Оставьте мое сиятельство в покое, любезный сосед. Вы видите во мне несчастную мать, и от вас зависит теперь все мое счастье, жизнь моя, жизнь моего бедного сына. — Княгиня заплакала. Бабушка заплакала вместе с нею. Эмма побледнела и готова была также плакать.

— Ваше сиятельство, — сказал дедушка, заикаясь и не зная что отвечать... — Если только — то я — прошу вас...

— Наградить за это я ничем не могу вас, любезный сосед: награда ваша на небесах, а не на земле — если только радостные слезы матери не дороже вам всяких наград в мире.

— Ваше звание, ваша благосклонность...

— Вы видите всю бедность знатного звания, всю ничтожность богатств, любезный сосед! От вас зависит теперь участь всего нашего семейства.

— Возможно ли, ваше сиятельство? Помилуйте...

— Тут нечего толковать много, любезный

сосед, — сказал доктор, перебивая речи старика. Доктор приехал вместе с княгиней, но сидел молча и слушал, упершись зубами в золотой набалдашник своей палки. — Тут нечего толковать. Вы должны согласиться, чтобы ваша внучка исцелила молодого князя, — должны, если только вы человек, если только вы христианин, если только вы желаете себе царства небесного.

— Ах! Господин доктор, ваше сиятельство! надобны ли для меня подобные убеждения? Если только добрая моя Эмма может чем-нибудь пособить вашему сыну...

— Если только хочет, скажите лучше, — возразил доктор.

— Вы спасете его? Вы захотите спасти его? — вскричала княгиня, нежно схватив за плечи Эмму обеими руками и смотря ей в глаза сквозь слезы. — Милое создание! скажите мне!

Крупные слезы закапали из глаз Эммы. Она склонила голову на грудь княгини и едва могла промолвить:

— Располагайте мною, ваше сиятельство.

Крепко обняла ее княгиня. Радостно улы-

балась бабушка, смотря на княгиню, обни-  
мавшую Эмму; дедушка утирал глаза; доктор  
внимательно глядел на ее сиятельство и, ка-  
залось, хотел прочесть в ее душе все тайные  
чувства.

— Г-н доктор, — сказала наконец Эмма, вы-  
рвавшись из рук княгини, — не ошибаетесь  
ли вы? Клянусь вам богом, что я совершенно  
не знаю, чем могу я пособить излечению сы-  
на ее сиятельства!

— Девушка! — вскричал доктор, схватив  
руку Эммы, — так же робко говорила некогда  
одна девушка, тебе подобная, когда высокая  
тайна совершалась в мире. Душа невинности  
есть рай чудес высоких и непостижимых. Го-  
ре вкусившему плод с древа познания! Не  
ему, нет! не ему упадет в душу луч небесный.  
Только невинному, чистому, как младенцу,  
предоставлено уничтожать предведения муд-  
рых, и только в неведущую душу нисходит  
благодать! О, великий Месмер! какую тайну  
знаю я теперь! — Он благословил Эмму, под-  
нял глаза к небу и отвернулся утереть слезу.

— Милая Эмма! — сказала княгиня, — от-  
ныне вы будете моею дочерью!

Ярко загорелись опять щеки Эммы от этого слова. Она закрыла лицо руками и тихо промолвила:

— Пощадите меня, ваше сиятельство!

Казалось, что с восхищением княгиня теперь смотрела на Эмму. И прелестна, очаровательна была Эмма в эту минуту, необъяснима, как миг восторга, проста, как песня швейцарская, радостна, как весть свободы узнику.

— Любезный сосед! — сказала княгиня дедушке, — отныне вы позволите мне разделить права ваши над вашею Эммою. Пред лицом бога клянусь быть ей матерью! Послушайте же теперь, после моего обещания, после моей клятвы, и не пугайтесь: вы должны отпустить со мною мою милую Эмму.

Невольное "ах!" вырвалось вдруг из груди Эммы и из уст ее бабушки. Сам дедушка казался изумленным. Предложение было так неожиданно. Эмме показалось, будто сердце оторвалось у нее; она побледнела.

— Завтра едем мы в нашу подмосковную деревню. Эмма поедет со мною.

— Только в деревню вашу?

— Неужели ты согласишься расстаться с

Эммою? — поспешно сказала бабушка. Молча, но с умоляющим взором, оборотилась к ней княгиня. — Извините, ваше сиятельство, — продолжала бабушка в замешательстве, — мы так привыкли к нашей Эмме... Впрочем, как угодно моему мужу...

— Мы можем примирить все затруднения, — возразила княгиня. — Поедьте все вместе, любезный сосед! Места достанет для всех нас; деревня наша прелестная — у нас тут немного: только пятьсот душ; но дом предельно большой, сад обширный — будет, где поместиться.

Мысль: ехать к князю, к этому знатному, богатому вельможе, быть в его обществе, светском, блестящем, модном, расстаться с своим домиком, расстроить порядок хозяйства, все привычки, все удобства, с которыми свыкается старость? И почему не ехать одной Эмме? Все это пролетело в голове старика в одно мгновение.

— Но что я буду у вас делать? — сказала Эмма робко. — Простите меня, ваше сиятельство, я вовсе не знаю никаких приличий большого света, даже никогда не жила в чу-

жом доме.

— В чужом, милый друг! Разве вы будете в чужом доме? Разве не заступлю я вам места матери?

— Ах, ваше сиятельство! — сказала Эмма, целуя руку княгини, — я уже люблю вас, как мать...

— В самом деле, ваше сиятельство, наша Эмма вовсе не знает большого света, — начала важным голосом бабушка, думая, что нашла непобедимое средство оспорить требование княгини.

— Оставьте ваш большой свет, — сказала княгиня, с легким упреком. — Можете ли вы воображать дом мой каким-нибудь блестящим, большим светом, дом печали и скорби, где ваша Эмма будет звездою счастья и радости! О, боже мой! неужели имя княгини, неужели звание моего мужа пугает вас?

— Но разве пребывание Эммы с вами необходимо?

— Да, сосед! — сказал доктор. — Надобно, чтобы наш больной был беспрестанно с нею вместе, дышал одним с нею воздухом, глядел ее глазами, говорил ее мыслью, думал ее

умом.

Дедушка невольно улыбнулся. "Что же из этого будет?" — подумал он сам про себя.

Эмма не видала его улыбки. От слов доктора у нее мелькнула совсем другая мысль: "Мечта моя! неужели ты сбываешься?"

Княгиня заметила, как улыбнулся дедушка. Может быть, она поняла его мысль; по крайней мере она улыбнулась, будто говоря ему в свой черед: "Оставим будущее судьбе, любезный сосед!"

Но доктору показалась усмешка дедушки недоверчивостью к его словам.

— Сосед! — сказал он. — Неужели вы ничего не слышали и не читали об этом? Вам как немцу стыдно такое незнание. Завтра же пришлю я к вам сочинения Гмелина и Бекмана.

— Но вы говорили мне, доктор, — возразила княгиня, усмехнувшись лукаво, — что ни Месмер, ни Гмелин, и никто этого не понимает.

— Вам угодно ловить меня на словах, княгиня. Но между двумя вещами, которые одинаково называются, может быть разница неизмеримая. Простолюдин говорит: "я ниче-

го не знаю", и Сократ, объявленный от оракулов мудрейшим из людей, говорит то же. Что ж из этого? Простолюдин в самом деле не знает ничего, а Сократ знает все то, чего он не знает... Как бы изъяснить мне это... *Er weiß alles, was er nicht kennt...* [16] — доктор заговорил по-немецки с дедушкой Эммы.

— Не позволяйте ли, ваше сиятельство, чашку кофе, — сказала бабушка. — Прошу вас сесть; сядьте, отдохните, успокойтесь, ваше сиятельство!

— Охотно, милая соседка. Позвольте мне ближе познакомиться с вами; уверяю вас, что вы найдете во мне простую, добрую женщину.

— Эмма! поди поскорее, милая, свари нам кофе. Эмма весело побежала.

— А мы поговорим между тем с вами об Эмме, — сказала княгиня, усаживая подле себя бабушку.

Доктор с жаром вел между тем с дедушкой разговор о сомнамбулизме и магнетизме, искусственном магнетизировании, естественной поляризации и духовной эксцентризации. Общество этих людей казалось таким

дружеским, веселым, радостным. Княгиня расцеловала братьев Эммы, послала своего лакея за фруктами в свою богатую оранжерею. Бедняжки дети с роду не видывали таких персиков, таких яблоков; им дали по целому ананасу, и бабушка едва уговорила их отдать спрятать ананасы сестрице и не есть всего вдруг. Дружески расстались наконец соседи.

— Довольны ли вы мной, доктор? — сказала княгиня, когда села с ним в карету. — Еще ли станете вы говорить, что кто не любил, тот не знал ничего универсального?

— Вы мать — я забыл это, — сказал доктор, весело улыбаясь. Он досыта наговорился о Месмере с дедушкой Эммы и был теперь чрезвычайно весел и доволен.

— Боже мой! — восклицала старушка, бабушка Эммы, проводив княгиню и оставшись в своем семействе. — Да, что за милая дама эта княгиня! Совсем и не заметишь, что она знатная, что она сиятельная, что она богата.

Старик сидел в своих креслах и курил трубку с усиленным удовольствием, может быть и от того, что проголодался, почитая

неучтивостью курить при княгине и не принимавшись за трубку свою во все время, пока была у них сиятельная гостя. Вид его выражал довольство простолюдина, который после свидания с знатным человеком говорит сам себе: "Кажется, я не одурачил себя в глазах его?" На слова своей старушки он отвечал односложными: "Ja, ja!" [17] и пускал табак фигурными кружками и вдруг густою тучею, и потом тихонько, тоненькою, длинною змейкою... Эммы не было в комнате. "Где же наша Эмхен?" — сказала наконец старушка, когда уже не находила более слов для похвалы княгине. Она пошла в комнату Эммы и увидела сквозь стеклянные двери, что Эмма стоит на коленях и усердно молится. С наслаждением смотрела старушка на Эмму и думала, смотря на нее: "Судьба непостижимая! Может быть, это будущая княгиня С\*\*\*?" Тайные слова старушки показывали все, что поняла и придумала она из всего, что видела и слышала. У старика дедушки бродили в голове магнетизм и сомнамбулизм, поляризация и эксцентризация. Но Эмма? Думала ли она о будущем своем княжестве? Ах, нет: она молилась; таково

было первое движение Эммы, расставшись с княгиней. Но о ком, о чем молилась она, и что она думала?

## VI

Смешны люди, если они решаются систематически отдавать себе отчет о самих себе и о других! Забавны все эти философы и историки, когда они хотят изъяснить каждую дробь мыслей и поступков человеческих! Что такое всеобщая история? Человек, написанный Ролленем в миллионе огромных томов *in quarto*. А жизнь человека, отдельно взятая? Сокращение той же всеобщей истории, сделанное Шрекком для училищ. И вообще говоря: походит ли человек на логический силлогизм в своей жизни? Что же такое мелкие дробы мыслей и дум его! Тут система? Бедняки!

Но мысли, и думы, и вся жизнь девушки, этого творения, созданного в минуты восторга первобытной поэтической жизни вселенной, этого творения, очарованного и очаровательного, но безотчетного, как стихи юного поэта, — в них ли будем искать логической

системы? Будто облака, вольно летают мысли и думы по небу души девичьей, освещаются улыбкою, темнеют слезами, сверкают чувствами...

Мы знали прежнюю Эмму до встречи ее в саду с сумасшедшим князем. Она высказала нам всю свою душу в разговоре с Фанни: мы подслушали этот разговор. Когда, по возвращении с дедушкою из сада, карета княжеская умчала безумца, когда все происшествие в саду казалось Эмме какою-то мечтою, от которой ничего не осталось в действительности, когда Эмма выслушала продолжительные рассказы старика старушке о том, что видел он в саду, и когда ее самое заставили два раза пересказать обо всем этом, пересудили, переговорили, — Эмма ничего не понимала, что это такое было... И еще более: она даже не спрашивала у самой себя об этом! Чувства ее были похожи на чувства человека, которого невидимая сила вдруг подняла высоко, близко к солнцу; и вдруг голова его закружилась — он упал в какую-то бездну, полную непроницаемого тумана. Он не знает, где он, на небе ли, на земле ли, в пропасти ли какой,

боится крепко стать ногами, чтобы не провалиться далее в глубину, боится ощупать вокруг себя руками, чтобы не схватить за голову какой-нибудь змеи, чтобы не протянуть руки своей в пасть какого-нибудь невидимого чудовища, боится и взглянуть кверху: что если над головой его мрак непроницаемый или тяжкое, роковое решение судьбы нависло черною тучею? — Как естественно кажется мне действие детей, когда они сжимаются ночью под своим одеяльцем и закрывают себе глаза руками, думая, что спаслись от привидений, если не видят их! Не так ли делаем и все мы, взрослые?

Но когда, после обеда, братья расселись по углам и учили свои уроки, а дедушка и бабушка легли отдыхать, Эмма села подле окна с вязаньем. Несколько минут она смотрела на небо, на улицу, опять на небо... Наконец, она никуда не смотрела и стала думать — думать невольно, в глубокой тишине, окружавшей ее. Туман рассеивался вокруг нее; бездна исчезала; образ несчастного молодого человека, лежавшего у ног ее в садике, означился теперь перед нею сквозь мрак и туман. Вечный

враг наш — воображение стало расцвечать его своими заколдованными красками. Забавны мне старушки, маменьки и бабушки: они не дают дочкам и внучкам своим читать романов, забывая, что душа девушки есть сама по себе глава из романа, под которою подписывает судьба, как журналист: "продолжение обещано"! Из всего, что было в садике, Эмма живо помнила только ту минуту, когда сквозь бледное, обезображенное болезнью лицо молодого князя проглянул ей какой-то юношеский милый образ — и какой образ? Тот, тот самый, который создавала себе Эмма в неясных мечтах, образ, которому она давала жизнь, и бытие, и счастье жизни, и прелесть бытия! Все остальное исчезло перед нею — и ужас события в садике, и безумие князя, и князь: совсем не приходило в голову Эмме, что это был князь — и то ли еще? Исчезала вся природа и все люди: один он, неизвестный и знакомый душе, лежал у ног ее и говорил ей: "мне так хорошо!" Мильоны людей, будто пылинки в тучах пыли и тумана, толпились вокруг него и Эммы, и все они были им чужды; из мильонов только один принад-

лежал Эмме, молил спасти его, оживить, воскресить. Сердце Эммы так сильно билось! — Вдруг страшный удар грома раздался в ушах ее — она испугалась, взглянула в окно: небо-склон облекала черная туча, и огненною змеею раздирала молния недра этой тучи; крупный дождь шумел, и окошко, растворенное Эммою, хлопало. Эмма совсем не заметила, как подкрались на небо тучи, как собралась гроза и зашумела буря. Она спешила запереть окно и ободрить испугавшихся братьев. Но, боже мой! Ей казалось теперь, что мечта ее сливалась каким-то непонятным образом с действительностью; она слышала, видела грозу и не понимала еще: в самом ли деле наяву гремят эти громаы или только гремят они в ее душе? "Эмма! ты забыла, что обещаешься молиться за него, молиться о том, чтобы он выздоровел! А что же ты делала, Эмма — молилась ли ты о нем? Ты безумствовала; ты преображала его в какую-то странную мечту... Эмма! ты согрешила, и бог напоминает тебе громом небесным о грехе твоём". — "Создатель! прости меня!"

Эмма стала на колени, но не знала, как ей

молиться, как провести челнок успокоения молитвою по волнам души своей, в первый раз в жизни вздымавшимся грозными, непримиримыми валами...

— Ты видно очень испугалась грозы, Эмма! Прежде ты никогда не баивалась грома, — сказала бабушка, входя в комнату. Грозы душевные были неизвестны старушке, и в душе ли Эммы, своей кроткой, тихой Эммы, вздумала бы она замечать их!

В первый раз в жизни Эмма скрыла тайную думу свою от доброй бабушки, изумленная тем, что гроза уже пролетела, и солнце опять ярко светило на небе, и что этого перехода от бури к солнцу она так же не заметила, как прежде не заметила грозных туч, заставших светлое солнце. В первый раз Эмма не пошла вечером полюбоваться цветами в садике своем. Ей хотелось бы теперь говорить с Фанни и ни с кем более не говорить ничего. Она занялась ученьем братьев и так прилежно и так долго учила их, что они стали жаловаться бабушке. Настал вечер; Эмма села разыгрывать Гуммелев концерт и играла опять так долго, что бабушка принуждена бы-

ла два раза напомнить ей об ужине. Когда надобно было идти в свою комнату, остаться в ней одной, — Эмма ужаснулась пустоты и одиночества; ей казалось, что из каждого темного уголка глядят на нее какие-то безумные глаза, из-за каждой двери слышится какой-то хриплый голос: "Эмма! я твой, но и ты моя!"

Со страхом бросилась она в свою постелю. Тяжелый сон налег на грудь ее привидениями и глушил ее воплями, звуком цепей, гробовым пением. Он был мертвый, лежал неподвижно; перед ним догорала свеча в высоком гробовом подсвечнике. "Эмма! — сказал он, вдруг поднявшись, — когда догорит эта свеча, ты умрешь!" Свеча горит, горит, догорает, догорает, едва светит; Эмма поспешно поправляет светильню, но светильня кончается, кончается — догорела — еще раз вспыхнула, потухла — мрак повсюду — какой-то голос запел похоронную песню, и глаза мертвеца открылись, засверкали, окостенелые руки его протянулись — он говорит насмешливым голосом: "Сюда, Эмма, сюда!"

Эмма вздрогнула и пробудилась... Восток алел утреннею зарею, и Эмма чувствовала

дрожь и холодный пот по всему телу. "Не оставь меня, боже великий! — прошептала она и вместо утренней молитвы читала: "Du bist mein Vater, ich dein Kind: mein Heil ist, dich zu lieben!" [18]

Бледная и задумчивая сидела Эмма за работою своею, когда не мечты, но действительность жизни явилась перед нею в виде княгини С\*\*\*. Все, что говорили потом княгиня, дедушка, бабушка, доктор, все, что говорила сама Эмма, пролетало мимо души ее. Но когда доктор сказал, что молодому князю надобно быть вместе с Эммою, дышать одним с нею воздухом, глядеть ее глазами, говорить ее мыслью, думать ее умом, — "Мечта моя! неужели ты сбываешься?" — невольно спросила Эмма у самой себя.

"Итак, это не будет уже мечта? Но как же встретимся мы опять с тобою, мой безумец? Как станешь ты оживать моею жизнью, сумасшедший", — думала Эмма и не смела спрашивать, когда и каким образом отправится она с княгинею, хотя и знала, что дедушка и бабушка согласились на ее отъезд в подмосковную княжескую. Прилежно, ревностно за-

нималась она хозяйством, как будто ей совсем не надобно было собираться в дорогу. Бабушка скрывала от нее все небольшие дорожные приготовления; тихонько увязали ее белье, сложили ее платья; старушка сама не хотела говорить Эмме о разлуке с нею до самого часа разлуки. Разве не радуется человек даже отсрочке казни, хотя участь его уже определена бывает в этом случае неизбежно? И кто из нас не был доволен, когда на день отсрочивал отъезд свой милый нам человек? И кто из нас напоминал ему потом, что время ехать? С изумлением увидела Эмма на другой день утром экипаж княжеский, подъехавший к крыльцу. Неожиданно бабушка велела ей поскорее одеваться. Только доктор вошел в комнату. Княгиня оставалась в карете.

— Милая Эмма! ты едешь на счастье! — сказал дедушка и горько заплакал, когда Эмма в одну минуту была готова, надела свою шинельку и бросилась к нему в объятия — проститься!

Страшное слово! Кто первый заменил тобою милое "до свиданья", тот, кто первый сказал тебя, тот знал ужас разлуки, разлуки веч-

ной! Не ты ли, праматерь наша, сказала первая это страшное слово в то время, когда перед тобою простерт был бесчувственный труп Авеля!

В бричку, въехавшую во двор вместе с каретою, отправляла бабушка картончики и узелки Эммы, и слезы текли между тем из глаз ее. На крыльце стояли кухарка и дворник.

— Простите, барышня! — говорили они и плакали, целуя руку Эммы. А братья ее? О, милые связи семейственные, простые ощущения любви родственной, тишина безвестного бытия! Зачем меняет вас человек на бурные страсти, на бешеные впечатления, на шумный, безвестный ему, обольстительный свет? — Чье сердце не бьется сильнее и после двадцатилетней стужи лет и печалей, вспоминая ту минуту, когда один шаг в кибитку, карету, телегу — все равно — должен был отделить нас от всего прежнего, чем мы жили, с чем мы сжились сердцем, и когда на крыльце стояла, провожая нас, добрая мать, скрывающая свои слезы, и подле нее видна была седая голова старика отца, и простые печальные

лица слугителей, и беленькие головки братьев, сестер с заплаканными глазами... Не сжимайся так тяжело, сердце мое: это было давно... это так давно прошло, пролетело... Тех, кто провожал меня, давно нет на свете...

Дверцы кареты отхлопнулись. На задней лавке сидела княгиня; против нее сидел молодой князь, сын ее: он был закутан в шинель свою, и яркие глаза его сверкали из-под дорожного картуза. Карета была четырехместная, великолепная; кучер и форејтер едва удерживали шестерню борзых коней, впряженных в нее.

Доктор говорил что-то с дедушкою, пока Эмма целовала своих братьев.

— Как земляк, честный германец и честный человек! — громко произнес наконец доктор, крепко пожимая руку старика. Он взял потом Эмму за руку и повел ее к подножкам кареты, пока княгиня ласково кланялась дедушке и бабушке. Старик и старушка перестали плакать и усердно откланивались. Эмма не плакала, даже казалась веселою, но когда ступила она на нижнюю ступеньку каретных подножек — вдруг затрепетала она, буд-

то кто-то дернул ее сзади, будто кто-то удерживал ее и шептал ей: "Эмма, остановись!" — Лицо ее побледнело; едва не сделалось ей дурно. Она чувствовала неизъяснимое отвращение ступить еще шаг далее..:

— Идите, моя милая, моя добрая Эмма! — сказала княгиня, со слезами на глазах подавая ей руку, — идите — нам пора ехать!

— Пожалуйста, сударыня, — говорил доктор.

Эмма вошла в карету. Доктор сел против нее, подле молодого князя. В последний раз взглянула Эмма на людей, столь милых ее сердцу, неразлучных с нею до того времени. Дверцы захлопнули; стук экипажа заглушил голоса, и карета быстро понеслась по московским улицам.

Эмма робела? Нет! она не оробела от блестящих глаз безумца, прямо на нее устремленных, — чего же было еще робеть ей? Или то, что сдавило сердце ее, когда она входила в карету, было мрачное предчувствие будущего? Но что же такое страшное видела вокруг себя Эмма? Ласковую, добрую княгиню, странного весельчака доктора. Сумасшедший си-

дел молча, неподвижно, не раскрывая своей шинели, не снимая своего картуза; уподоблялся статуе, пока Эмма не взглянула на него: взгляд Эммы обратился на него, и он поспешно надвинул картуз свой на глаза, закрыл лицо своею шинелью. Эмма поглядела на доктора, как будто спрашивая: что это значит?

— Не замечайте его, — сказал ей доктор по-немецки и начал общий разговор с княгиней. Княгиня казалась растроганною, обняла, поцеловала Эмму, взяла ее руку, долго держала руку ее в своей, пожимая дружески, нежно, и между тем вела разговор с доктором. Эмма молчала.

Она имела теперь досуг осмотреться кругом и углубиться в самое себя. Но душа ее показалась ей каким-то хаосом беспорядочных, безотчетных мыслей; Эмма не захотела смотреть в нее, как разоряющийся богач не смотрит на счета, подносимые дворецким.

Тем внимательнее глядела Эмма кругом себя. Как зашла ты сюда, Эмма? Какая непостижимая сила вырвала тебя, столь быстро и неожиданно, из мирной семьи твоей и бросила сюда, в это странное общество, чужое, чуж-

дое? Что за великолепия тебя окружает: бархат, золото, блеск! И что же в этом великолепии? Сумасшествие, принужденный разговор, печальная мать, наемник, который взялся лечить ее безумного сына! Так ли было в твоей тихой семье, без золота и блеска, но при ласковой речи бабушки, при улыбке старика дедушки, резвой веселости братьев, простоте подруг? Эмма! как зашла ты сюда! — Робость овладела Эммою; она прижалась в угол, чувствуя, что все уничтожает ее — да, уничтожает! Несмотря на ласковость княгини, на ее старание не дать заметить Эмме превышающего состояния и образования светского, Эмма ясно видела это: самая одежда княгини, дорожная, простая, но богатая, брильянт на руке ее, множество ничтожных, но дорогих безделиц, какими бывает окружена светская дама, — все это видела и заметила Эмма, соображая свою одежду, свою опрятную, но бедную шинельку, свою красивую, но простую соломенную шляпку. Эмма чувствовала, что никому не уступит в силе души, силе чувства — может быть, и уме, — но ловкость, оборот разговора княгини — ах! ее каж-

дое слово, и эта невнимательность, с какою княгиня смотрела на все великолепиие, холодность, с какою говорила она о дорогом, важном, сильном, обо всем, что прежде казалось Эмме столь великим и значительным, — все показывало Эмме бездну, разделявшую ее состояние и образование от состояния и образования людей, с которыми так неожиданно столкнула ее судьба!

Какую философию, какую твердость духа и опытность надобно иметь, чтобы свое самобытное "я", свое внутреннее превосходство поставить без робости против прилагательно-го блеска большого света и твердо глядеть в бесчувственные глаза этому чудовищу, называемому большим светом!

Когда после трех часов скорой езды карета въехала в огромные ворота обширного поместья княжеского и перед Эммою открылся величественный фасад каменного княжеского дома, сады его, пруды, бесконечные парки; когда потом, смущенная, робкая, пошла она по мраморной лестнице, мимо огромных канделябров и статуй; когда слуги засуетились, растворили двери в бесконечный ряд старин-

ных зал и гостиных, — Эмма потерялась совершенно. Эти стены, покрытые штофом и бархатом, мрамор, бронза, ковры, картины, золото, серебро, до потолков зеркала и темные до полу окна, тысячи изобретений роскоши, которых Эмма вовсе не знала употребления; наконец явление угрюмого старика, князя С\*\*\*, — и толпа слуг и служанок, и самая тишина и почтительность, с какою все ходили по этим залам и комнатам, — все это делало Эмму какою-то простою, бедною девочкою, которую из милости взяла к себе княгиня — подивиться, посмотреть на все великолепие и потом слышать убийственные слова: "Видишь ли, Эмма, всю разницу между нами и тобою?" — Но этого не было. Дружески и мило обняла княгиня Эмму, и нежно осмелилась прижаться к ней Эмма, и сердце ее отдохнуло, когда княгиня повела ее после сего по дому и показала ей несколько богатых комнат, говоря: "Вот ваши комнаты, милая Эмма! Будьте здесь полною хозяйкою". Княгиня пошла к себе. Эмма осталась одна, оглянулась кругом и готова была воскликнуть, смотря на огромность и великолепие комнат и на удалявшуюся

ся княгиню: "Я здесь одна, я здесь чужая — перенесите, перенесите меня опять под родную, знакомую мне кровлю смиренного убежища моего детства!"

Щегольски одетые, красивые служанки окружили Эмму. Ей казалось, что каждая из них смотрит на нее с удивлением, что каждая превосходит ее привычкою ко всему, что изумляло ее. Почтительно стояли эти служанки, ожидая приказаний, но Эмма не привыкла приказывать.

— Мне ничего не надобно, мои милые, — сказала она, сама поспешно снимая свою шляпку. Служанки поглядели одна на другую. Это заставило Эмму покраснеть: "Они видят твою неловкость; что же увидят в тебе другие?"

Замешательство Эммы прервано было приходом служителя, который важно произнес:

— Сударыня! Ее сиятельство приказала просить вас к себе.

Эмма спешила к княгине.

## VII

"Я обещал вам, мой любезный и почтенный друг, продолжить сообщение наблюдений моих касательно магнетических явлений, какие начались над вверенным лечению моему молодым князем С\*\*\*, и мыслей моих по сему случаю. Хотя после того получил я письмо от общего друга нашего, г-на профессора и доктора Копфбреннера, но несколько им не убежден. Препровождая при сем копию с упомянутого письма общего нашего друга, признаюсь: вижу в нем только доказательство, что ни лета, ни учение не охладили энергии души его, и он всегда пылок, как дитя, хотя и учен, как старик. Но он решительно не прав. О сем упомяну далее.

Вам уже известно первоначальное явление, происходившее в саду г-на \*\*\*, в Москве, где больной субъект подвергнулся внезапно и сильному действию объекта, совершенно здорового и никогда дотоле им не виданного. Известно вам и то, что после сего поляризировал я субъект с объектом и, чтобы действие магнетизма происходило свободнее, ре-

шился устранить субъект от всякого насильственного лечения, как-то: усмирительных наказаний, обливания водою и т. п. — Далее, пользуясь хорошою погодою, перевез я его в окрестности Москвы, в село, окруженное обширными лесами, где совершенно устранил все положительные лекарства, а только давал успокоивающие. Но зато подвергнул я мой субъект самому сильному действию объекта, на полной свободе, при постоянно хорошей погоде и при спокойствии наружном совершенном.

Следствия были мною предвиденные. Сближение совершенно животного состояния сумасшедшего с чуждою ему стороною усиленного духа произвело в одном совершенное уничтожение его "я", когда в другом его "я" развилось в высокой духовной степени. Молодая девушка, представительница духа, поборающего животность, без всяких механических средств магнетизма, покорила себе больного так, что сначала несколько дней он не мог даже смотреть на нее прямо, был при ней безмолвен и неподвижен, как истукан. Потом начал переходить в него живительный дух

высшей жизни. Тогда первое чувство его было робость, покорность какая-то совершенно безусловная. Наконец больной начал понимать все, что говорил ему объект, начал сам упражнять свою мыслящую способность, и журнал, мною веденный, представит вам изумительную картину постепенного развития человека в нравственном его отношении. С тем вместе образовывалась и внешняя сторона больного: пропала дикость в его глазах; черты лица проникло выражение мысли; возродились понятия об уважении к родителям, о благопристойности и стыдливости. Больной постепенно терял робость свою перед объектом, и чувство приязни и дружбы к объекту усиливается в нем беспрерывно и постепенно. Кончиться должно тем, как я это наперед изъясняю, что субъект должен почувствовать самую усиленную дружбу, то есть сильнейшую любовь. Тогда объект потеряет свою силу и станет в страдательное положение, в каком находится в мире женщина, мощная, когда перед нею слабость, ничтожная, когда перед нею великое. Женщины любимые и любящие непременно должны быть в пассивном

бытии, когда просто любящие, но нелюбимые, живут активно. Оттого отчаяние любви в женщине может возвысить ее до неслыханной поэзии, а счастье любви всегда будет только приятная проза. Оттого женщины, по инстинктивному самолюбию, предпочитают в любви дураков гениям, и оттого мой нынешний объект удивительно возвысился душою, ибо перед ним было совершенное животное, то есть сумасшедший. Здесь я решительно противоречу общему другу нашему, г-ну Копфбреннеру. Его мысль та, будто моральные стихии так же разлиты во вселенной, как и вещественные, что главная из сих стихий есть любовь, что каждый есть представитель какой-либо стихии и что сородные индивидуальности мужчины и женщины, созданные по одной стихии, производят те магнетические явления, какие наблюдаю я ныне над князем С\*\*\* и его объектом. Все это несправедливо. Здесь, по моему мнению, следует совсем иное: женщина, совершенная по чистоте души, набожная и изолированная от всякого другого бытия, вознесла свою земную стихию до высочайшей степени скорби, со-

страдания и чрез то телесную магнитность, как категорию скрепляемости (Zusammenkettung), перевела в моральное бытие. Магнетизм и пансофика суть одно и то же. Низшую часть их видим в обыкновенной магнитизировальной манипуляции, а высшую в свободном фанатизме, рождающем на Востоке столь странные всеведения (вспомните, что писал я в диссертации моей "De spectrorum artificiosa exhibitione" [19], к которой, впрочем, теперь и сам я недоволен). Наш общий друг утверждает, что по возвращении разума князь С\*\*\* и объект его должны страстно полюбить друг друга и что объект особенно будет любить субъект свой. Все это невероятно. Напротив, князь С\*\*\* преимущественно должен привязаться к объекту как к моральной необходимости жизни, а объект его, утомленный возвышением духа, должен или совсем уничтожиться, или сойти с ума, если не будет проникнут чувством активной привязанности субъекта и не согласится жить пассивно. Вся ошибка нашего общего друга происходит от того, что он почитает любовь, низшее чувство бытия, всемирною сти-

хию. Но если допустить это, то каждая женщина любящая делалась бы самым высоким существом, когда это бывает напротив. Все это, однако ж, только запасы к моему психо-физиологическому огромному исследованию о любви и духе и об отношениях страстей с нервами и мозгом. Посылаю вам при сем метеорологические записки мои о климате Москвы и статью о поветренном кашле, какой имел я случай наблюдать здесь в Москве в марте сего года. Поклонитесь от меня г-ну статскому советнику Бибириху, г-ну доктору Штульвейссу", и проч.

## VIII

### (Девичья, в деревне князя С \*\*\*)

**А**нютка. Право, Степан, ты досидишься до  
беды. Поди в свою лакейскую.

Степан (с торбаном в руках, развалясь на  
стуле, поет и подыгрывает).

*За палатами-то стоят шатры  
шелковые,  
Э, а, о, о, ох! шелковые, да, шелко-  
вые!*

Парашка. Тебе по-русски говорят, Степан,  
чтобы ты убирался отсюда.

Степ. Да я и слушаю не по-французски, моя  
разлапушка, слушаю, да нейду.

Дуняшка. А вот увидит тебя Артамон Пан-  
фильич, так он тебе даст себя знать.

Степ. Не бось, моя разлюбезная Авдотья  
Степановна: этого старого черта унесло в Пе-  
репелихино, и он раньше ночи не воротится  
расхаживать здесь по-петушиному.

Маша. Но ты знаешь, Степан Ильич, что

барыня накрепко заказывает лакеям приходить в девичью. Увидит тебя мисс Черт, подымет такую грозу...

Степ. Она ушла завтракать. Ей вот это такое блюдо буденю да окорок унесли в ее комнату. Ну! да если увидит, что за беда? Хе! палки деньги, деньги палки — семь бед один ответ — спины не нанимать стать: своя, не купленная! Лучше ли мне красть барское да проигрывать в три листа, чем приходить сюда к вам, мои красавицы, погуторить кое о чем, то есть, так сказать, о том о другом? Или, примером то есть сказать, спеть песню... То есть, Авдотья Степановна, как ты изволишь об этом думать:

*Ах! ты, Степа, Степаша-горюн!*

*Ты почто, Степан, не женишься?*

Анютка. Да я говорю тебе, что барыня не велит лакеям в девичью ходить. И в самом деле, за своею Дуняшкой ухаживаешь да другим дело, делать мешаешь, постреленый!

Дуняшка. Так тебе стало и завидно, что не за тобой ухаживают?

Анютка. Завидно! будто не знает, что вот все это белье надобно к обеду выгладить, от-  
делывать; а смотри-ка: где солнце-то?

Степ. Ну, если к барскому обеду, так успеете — в пять часов ведь обед; добрые люди, отдохнувши, полдничать да к вечерне идти собираются, а мы обедать садимся...

(Все смеются)

Степ. А что, право, у бар затей не оберешься. Ведь, вот, хоть бы и о том сказать: не ходи сюда с красными девицами поговорить! А сами что делают...

Маша. На то они баре.

Степ. Баре? Так им и надобно что хошь делать? Тут не далеко искать: вывезли они молодому барину эту немку молоденькую...

Анютка. Да ведь она его лечит.

Степ. Лечит? Хитер стал этот немецкий народ: у него и девки-то лет восемнадцати лечить умеют. Хоть бы ты меня, Дунюшка, так полечила!

Дуняшка. Да от коего черта тебя лечить?

Степ. Да от сердечной зазнобы, разлапуш-

ка. От того же, от чего немка молодого барина лечит.

Анютка. Полно ты врать, Степан.

Степ. Нечего врать. Верь ты этим барчатам да немкам, а мы знаем, что знаем.

Маша. Ах! скажи?

Степ. То-то скажи. Будто вы сами не догадаетесь. А я так подслушал, как мисс Черт говорила, а она, уж конечно, знает, что говорит.

Дун. Чего тут догадываться. Барич наш сошел с ума, и как было ему не сойти: ребенком был — его лелеяли, мальчиком рос — не жили; а как попал в службу, так в пол-года и с ума спятил.

Парашка. Говорят, он книг зачитался.

Степ. Скажи лучше: от ретивого головушка повернулась. Ведь и с нашим братом, лакейщиной: как приглянулся кто, так вот голова и одуреет.

Анютка. Вздор!

Степ. Не вздор, а то, что правдой зовут. Видишь: мисс Черт говорит, что барич только прикинулся сумасшедшим. Этому, говорит, примеры и в книжках есть описаны, и на театре представляют. А он себе очень на уме.

Полюбила, видишь, ему эта немка, и уговорил он доктора сказать, будто она лекарка.

Пар. Не такова наша барыня, чтобы ее обманули.

Анютка. Однако ж, Параша, в самом деле: чем же она его лечит? Ни порошков, ни пластырей, а он здоровеет видимо с тех пор, как немка при нем.

Степ. Эх! да какое лекарство лучше девичьих глазок! Я сам заметил: баричу грустно станет, опять будто что-то на него найдет недоброе — немка поглядит ласково, заговорит с ним — и как рукой сняло!

Пар. Ты думаешь, будто немка эта полюбилась баричу? Ан неправда, я знаю. Если и были у него шашни, так не тут. Помнишь, Анюта?

Анюта. Да с соседкой-то, молодою графиней? Знаю.

Все. А что? что?

Пар. Мы знаем что. Пока не определялся барич на службу, и записочки летали, и тихонько видались они — да не наше дело, а барское!

Маша. Ну, что твоя графиня: и теперь-то

она дитя, а этому уж три года прошло.

Анютка. Батюшки! этак выдумала: дитя! Давно из пеленок вышла... А прошлую зиму послушала бы ты, что о ней по Москве-то говорили: первая, видишь, красавица и щеголиха; лучше ее никто в Благородном собрании плясать не умеет.

Маша. А знаете ли что: я так другое подозреваю. Немка эта не колдунья ли? Ну как она приворотила к себе барича каким-нибудь зельем, а на всех родных его обморок накиннула?

Пар. Не правда. Она такая добрая!

Маша. Смотри ты на этих добрых! Ведь княгиней-то быть велико дело! А сама рассуди: что в этой немке хорошего? Так, всю-то красоту лавочным аршином смеряешь — ни кожи, ни рожи! А голь-то какая! что за бельишко у нее! Три капота белых, то и дело в стирку; а чепчиков-то всего полдюжины!

Анютка. Надарят, не бойся.

Пар. И ухватки-то у нее все нашей братьи, лакейские: слова гордого не скажет, взгляда сердитого не увидишь — ничего нет барского; сама одевается, сама голову чешет...

Анютка. Да, так тебе кажется, будто барского нет, а поди-ка, спеси в ней — не мисс Черта чета! Я-таки живала с барышнями. Бывало, к самой спесивой как раз и в фаворитки попадешь. А с этой заводишь речь — она молчит; продолжаешь — проговорит тебе: "Милая! мне ничего не надобно — ты можешь идти", — и пойдешь несолоно хлебавши...

Маша. Ведь и с баричем она так же обходится: не подлещивается, гордеянка, а как будто все приказывать ему хочет.

Анютка. Да уж не обвенчаны ли они, чего доброго?

Маша. Куда тебе! Тогда с старой барыней и не сладишь!

Пар. Но ты видишь, что старая барыня сама в ней души не слышит.

Маша. А, право, девки, дело чудное; я и не слыхивала об этом; не знаешь, как к этой немке и подходить: не то барышня, не то служанка, не то жена барича — а ходят вместе, сидят вместе.

Степ. А вот этак, не заметила ль ты, так сказать, чего-нибудь...

Маша. Ах! нет, нет! Вот уж нет — нечего и

греха принимать на душу — ей богу! нет! ничего — как брат с сестрой — хоть и одни остаются, так на фортепианах начнут играть либо книги читать... Ну! ручки не пожмет ни разу!..

Пар. Ах! нелегкая вас побери! заговорила с вами да любимый барынин чепчик прожгла утюгом...

Все. Ах! беда! ах! ах! ах!

## IX

" Давно не писала я к тебе, милая Фанни, и вот уж почти осень наступает, а мое последнее письмо было писано, когда еще цвели розы. Милый друг! прости меня — виновата и хочу теперь так положить, чтобы писать к тебе всякий день, а потом вдруг отсылать, что у меня будет написано. Без этого, когда есть случай, ничего в голову не приходит — ни пера, ни бумаги не сыщешь...

Боже мой! у меня и нечего много рассказывать. Я писала к тебе подробно о нашем приезде в княжескую деревню, о княгине, о прелестном здешнем местоположении. Как сказать: прелестном? Может ли быть названо

так место, где бедная природа брошена к ногам роскоши и искусства, где лужку не позволяют быть зеленым, пока не усыпали его золотом, а цветочку цвести, пока садовник не утвердит, что это цветок редкий или модный? Здесь все размеряно, рассчитано. Что кажется просто, то держится самым скрытым искусством. Обширные парки княжеские занимают ежедневно множество народа; каждое дерево там обделано, осмотрено, и что сначала почтешь простым, очаровательным, диким лесом, то все обработано по самой ученой перспективе. Вот окрестности здешние точно прелестны; виды в них превосходные. Но знаешь ли, милая, что я теперь чувствую?

Я писала к тебе, как сначала испугало меня великолепие, богатство, знатность, какие встретила я у княгини. Но я скоро к этому привыкла, узнала порядок здешней жизни, применилась к людям и теперь ничего не пугаюсь. Надобно знать тебе, что каждый день я открываю в милой княгине новые достоинства. Она так добра, проста, откровенна, ласкова! Она подарила мне такое множество всякой всячины, что я не знаю даже, куда мне с

этим деваться. Не принять совестно, принять тоже. Князь — старичок предобрый, и мы его мало и видим: только главное за обедом. Завтрак поутру носят к нему в кабинет, а за чаем вечером всегда составляется у него партия виста. Он и еще трое стариков соседей, а иногда наш доктор, каждый вечер сидят в гостиной и играют; между тем мы собираемся в свое отдельное общество. Не воображай себе княгиню и дом ее, как мы всегда воображали знатных людей, с толпою гостей, с множеством народа. Мимоездом, изредка посещают нас, и княгиня ездит иногда с визитами. Но кроме того, что князь и княгиня не имеют здесь много знакомых, по болезни сына они совсем отказались от гостей. Думаю, что при гостях, при выездах, при балах я потерялась бы, не знала, что мне делать. Но теперь совсем другое, и я совершенно обжилась у милой моей княгини. И — вот, что чувствую я теперь: какую-то тягость, какую-то пустоту в великолепии и богатстве! Меня удивляла прежде всего эта пышность — теперь нисколько не удивляет. Я не могла сначала пройти мимо огромных зеркал, какие везде расставлены по за-

лам, без того, чтобы не поглядеться в каждое. Теперь хожу мимо их и не думаю взглянуть на себя. Сначала я тихонько дотрагивалась, бывало, до малахита, бронзы, мрамора — так гладко, так хорошо погладить эти столы и вазы. Теперь все одно и то же пригляделось мне, и даже приходит иногда в голову: для чего стоят тут какие-нибудь пустые мраморные чаши и вазы, и можно ли платить за них тысячами, когда они ни на что не надобны, кроме того, чтобы занять места по углам и подле стен? Картин у князя так много, что часть их отнесена в кладовую. И не лучшие, но по симметрии подобранные поставлены картины на стенах. Многие ценятся за одно то, что они дороги. В гостиной находится большая картина; дикие американцы едят пленника — такая гадкая сцена, и я не взяла бы дорого смотреть на нее, но она дорого заплачена, писана каким-то славным живописцем и потому поставлена в лучшем месте. Не поверишь, по какому размеру и расчету все делается в знатном доме. Тут нет места уединению или свободе делать, что ты хочешь: на все часы, условие, и сто человек только того и смотрят: чего

ты желаешь? Здесь все безмолвно слушается и услуживает — даже карпы в пруду слушаются звона колокольчика — и, не поверишь, как это скоро и сильно надоедает. Здесь так всего много, что желать нечего, и скучно желать, потому что наперед знаешь, что все тотчас исполнится, чего ты ни захочешь. От этого, думаю, и добрая княгиня моя смотрит на все равнодушно, холодно, ничему не удивляется, ничему не радуется. Помнишь, когда на выработанные тихонько деньги мы делаем бывало друг другу какой-нибудь сюрприз? — Теперь я понимаю: не в том радость, что подарить, но в том, что сколько прежде этого думаешь, придумываешь, заботишься, как бы все это устроить и сделать! А когда бывало дедушка наймет карету, и мы отправимся в Царицыно — как радовала нас карета, как мы восхищались тем, что едем в карете! Теперь, милый друг, пять карет, и кабриолетка, и линейка — только захотеть, и поедешь в карете или в чем угодно, и — мне ни однажды этого не захотелось: право, не знаю, почему. Не знаю еще, каким образом милая моя княгиня узнала день именин моих и подарила мне бо-

гатый изумрудный фермуар. Но ведь я не обрадовалась ему так, как радовалась той браслетке, которую прошлого года подарила мне ты. Не думаешь ли, что я не люблю княгини? О, это невозможно — ее нельзя не любить; но для браслетки ты полгода копила деньги, а княгиня взяла фермуар из ящика, где у нее лежит множество брильянтов и всякой всячины; она подарила мне его как ничтожную безделку — я знала, что он ничего не значит для нее, и он потерял для меня всю свою цену. Дня три тому мы зашли на княжескую ферму. Тут я увидела дюжину превосходных коров — тирольских, английских — такие миленькие! И мне тотчас пришло в голову, видя, что княгиня и не смотрит на них: "Ах! если бы у бабушки моей была хоть одна такая коровка!" Я давала в это время кусок хлебца прелестной английской корове, белой, как снег, и она так ласково лизала мою руку. Княгиня заметила, что я задумалась, и стала спрашивать, о чем я думаю. Я откровенно призналась ей. "Chere enfant!" [20] — сказала она, печально улыбувшись, и поцеловала меня. На другой день я узнала, что корову увели в Москву, к дедуш-

ке. Это до слез растрогало меня. Я побежала к княгине и целовала ее руки. Пожалуйста, Фанни, поласкай мою коровку, когда приведут ее к бабушке, и напиши, рада ли была ей бабушка. Мы после того целых полдня сидели и говорили с княгинею. Она жаловалась мне на скуку жизни — я верю ей: у ней всего много, и ей нечего желать...

Расскажу тебе еще прогулку нашу дней пять тому назад. Она оставила глубокое впечатление в душе моей. Сквозь княжескую рощу из окошек моей комнаты видна золотая глава...ской пустыни. Давно хотелось мне побывать в этом монастыре. Я слышала, что там поют монахи по-старинному и очень хорошо, а ты знаешь, что никогда прежде совсем не слыхивала я монастырского пения и даже совсем не видала монастырей. Княгиня вздумала ехать и взяла меня с собою. Когда живет она летом в деревне своей, то всегда говеет, и духовник ее — один из монахов этого монастыря. Его все считают здесь за святого человека. Наружность монастыря обыкновенная, и он походит на все московские монастыри: четыре каменные стены, старинные башни,

на воротах написаны святые. Мы молчали всю дорогу. Я думала, не сердита ли на меня княгиня; но, подъезжая к монастырю, она печально сказала мне: "Здесь погребена моя мать". — Ее мать! Я поняла причину ее грусти, мне стало самой тяжело и грустно. Монастырь показался мне после того гробом живых мертвецов, которые оберегают могилы мертвых. У ворот мы вышли из кареты... Нет! жаль, что в наших лютеранских церквях нет образов! Ты не поверишь, какое чувство произвело во мне изображение на воротах двух смиренных монахов, несущих крест, и надпись над ними: "Отвергнись себя, возьми крест мой и по мне иди!" Но в то же время неописанное наслаждение произвело в душе моей изображение Спасителя над дверьми главной церкви и надпись: "Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас!" Мне казалось, что я приближаюсь к святому месту успокоения, обещанному Спасителем. Когда мы вошли в церковь, старинную, высокую, темную, невольное благоговение объяло меня. Церковь была почти пуста, народу было в ней немного: крестьянки-ста-

рухи да еще несколько богомольцев, пришедших из Москвы; но служба совершалась в церкви, как всегда; свечи зажжены были повсюду, О Фанни! мысль, что здесь, в этой уединенной обители, люди, отрeksiеся от мира, забытые миром, молятся за государя, за страждущих, плененных, за целый мир, за счастье его, за будущее небо для других людей — и в то же время свет, и люди, и мир шумят, бегут, едут мимо их и не мыслят о молитве их — и нет никакой награды в мире этим инокам, кроме мысли о темном гробе, о светлой жизни за гробом... Фанни! я невольно стала на колени и молилась усердно! Только молитва бедных поселян и смиренных богомольцев, пришедших издалека, сюда, в забытую эту обитель, сливалась с моею молитвою. "Господи! успокой его там, где успокоены праведные!" — шептала за мною какая-то старушка, босая, с котомкою за плечами, с изношенным платком на голове — она молилась со слезами, в землю. Я спросила у другой старушки: о чем плачет ее подруга? "У нее умер сын, барышня, и она для утешения пришла сюда, потому что с печали совсем лишилась

хлеба и только в богомолье находит еще отраду". Бедная мать ничего не замечала, молилась и плакала: Я готова была обнять ее и также плакать. Все несчастные казались мне друзьями моими. "Итак, только в горести, в скорби, — думала я, — мы вспоминаем об этих святых монастырях, приходим сюда плакать и молиться!" И звон колокола, который столько раз слыхала я равнодушно, утром и вечером, каждый раз говорил мне: "Бедствующие! утешьтесь! есть место, где вы можете плакать; и люди не помешают вам, и сам Спаситель сойдет святым утешением в душу страдальца!"

Между тем с любопытством смотрела я на монахов, на их длинные черные рясы: мне казалось, что я вижу тени людей, уже умерших, и только молитва, мрачная, грустная, печальная молитва, являлась мне в образе этих черных иноков, возносимая из глубины гроба, где погребены они. "Зачем же молитва тому, кто столь милосерд, должна быть мрачна и печальна?" — думала я, смотря на черные рясы и важные, угрюмые лица монахов. Я вслушивалась в пение, и оно удивляло меня ка-

кою-то важностью, дышало чем-то гробовым, страшным, заставлявшим содрогаться. Вдруг все монахи сошлись на средину церкви, и громкий хор их раздался повсюду. Я не знаю слов того, что они пели, но этот хор порастил меня какою-то патриархальною простотою: мне казалось, что я живу еще в первые времена христианства, когда еще не много стекалось народа в храмы и все страшились, что посланные тирана набегут на храм, сокрытый в какой-нибудь пустыне, и смерть ждет христиан в усердной молитве их...

Но хор умолк, и вдруг три тихие голоса запели. — О Фанни! И теперь слезы на глазах моих, едва вспомню я, как пели они! Я достала себе слова и ноты этой церковной песни: это та самая песнь, которую пел святой старец Симеон, когда увидел Христа, принесенного во храм Иерусалимский. Ты помнишь эту великую повесть? Симеону было обещано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя мира. И вот ждал Симеон, долго ждал, состарился, одряхлел — нет обетованного! Напрасно приходил он ежедневно во храм, смотрел, тосковал душою и сердцем — нет его! Уже но-

ги Симеона едва двигались, глаза едва смотрели — а смерть не приходила к нему! Он идет во храм еще раз — и перед ним божественный младенец, на руках пресвятой девы, — и мысль, что он видит от веков обещанное спасение мира и людей, и сладкая дума, что он видит вестника освобождения своего из тюрьмы здешнего мира и что настал для него час праведной кончины и для мира час вечного спасения... все это излилось из глаз его горячими слезами. И старец Симеон бросил в сторону свой костыль, принял на руки божественного младенца и вдохновенно запел: "Ныне отпускаеши раба, твоего, владыко! по глаголу твоему, с миром!"... Эту самую песнь пели иноки обители. Не могу писать к тебе более — дай мне поплакать немного!.."

## Х

— Не прикажете ли, ваше сиятельство, поднять штору? — униженно спросила у княгини служанка, горничная княгини, если угодно. Впрочем, в целом доме звали эту служанку Аграфена Михайловна; дворецкий всегда ласково кланялся ей, и мисс Щорт, или как называли ключницу-англичанку слуги и служанки, мисс Черт, всегда звала ее к себе завтракать. Аграфена Михайловна редко отказывалась от этого: она очень любила бриошки, какие мисс Черт готовила для своего завтрака.

Княгиня сидела на низеньком табурете подле круглого столика и, казалось, со вниманием смотрела в письмо, которое только что было прочитано и лежало перед нею на столике. Глаза княгини не могли оторваться: от следующих слов письма (мы переведем их для наших читателей; письмо писано было по-французски, разумеется):

"Словом, милый друг, прости эгоизму, с каким читала я твое известие о надежном выздоровлении твоего Поля Ты опять возвра-

тишься в Петербург, опять, счастливая мать, ты увидишь милого сына своего на блестящем пути, какой открывают ему его род, дарования и образование. Но мы радуемся всего более за себя, милый друг: без тебя мы сиротеем, негде души отвести, и если бы не наш барон Б. Б. завел дни, я не знала бы, куда деваться с днями, прежде тебе посвящаемыми. Ты полюбишь его баронессу; в этом я уверена. Кстати, милый друг, неужели ты не знаешь, что в соседстве твоём опять живет нынешнее лето сестра баронессы, графиня N. N.? — Кажется, вы бывали некогда довольно знакомы, когда еще графиня не ездила в Италию. Баронесса рассказывает, что малютка графини, эта Лауренсова головка, Моина, сделалась прелестна и исполнена дарований, что вся Москва была восхищена ею в прошедшую зиму. Мне невольно пришел в голову твой Поль. Если бы слабость здоровья не позволила ему служить, Моина твоя соседка. Несмотря на расстроенное состояние матери..."

Княгиня задумалась и оборотила голову к окну. Аграфена Михайловна с величайшим вниманием смотрела в это время в окно.

— Что ты видишь там такого любопытно-го, Груня? — невнимательно спросила у нее княгиня.

— Ах! ваше сиятельство! извините... я за-смотрелась...

— Что там такое? — княгиня встала и подо-шла к окну, из которого видна была часть са-да. На прелестном садовом лужку молодой князь и Эмма играли в серсо и весело бегали по саду.

Княгиня молчала и внимательно смотре-ла. Игра кончилась. Эмма бросила свою рапи-ру; князь побежал к дерновой скамейке, где лежали зонтик Эммы и платок, он подал их и потом взял Эмму под руку. Он и Эмма пошли после того по садовой дорожке.

— Прекрасная парочка!.. — прошептала Аграфена Михайловна, как будто забывшись.

— Что ты говоришь? — быстро спросила княгиня, оборотясь к ней.

— Ах! ваше сиятельство! извините...

— Что говоришь ты? — взор княгини сде-лался мрачен.

— Ваше сиятельство! я осмелилась ска-зать: "прекрасная парочка".

— Кто же эта парочка?

Аграфена Михайловна обратила взоры молча на князя и Эмму. Белое платье Эммы еще мелькало вдали, между деревьями.

— Ты знаешь, Аграфена, что я терпеть не могу, если ты позволяешь себе болтать всякий вздор.

— Я полагала, что на это есть воля вашего сиятельства и не смела бы подумать ничего противного воле вашей.

— Ты дерзкая болтунья.

— Не я, ваше сиятельство: это общий слух. В доме графини N. N. недавно говорили об этом. — Княгиня молчала. — Дедушка Эммы совсем этого не скрывает от своих знакомых.

— Кто сказывал тебе, что в доме графини говорили об этом?

— Лука Лукич, возвратясь от графини домой, говорил это своей супруге, а она спрашивала у меня, встретившись со мною в церкви.

— И неужели старик-немец осмелился сказать что-нибудь подобное?

— Ваше сиятельство! я не знала, что это тайна.

— Поди вон и не смей показываться мне

на глаза!

Аграфена Михайловна сделала печальную рожу и безмолвно пошла из комнаты, думая: "где гнев, тут и милость". Но ее насмешливая улыбка могла бы показать, что ядовитая стрела пущена была не без намерения, не пролетела мимо и попала по своему назначению.

"Об этом уж говорят и у графини N. N., и я сделалась басней слуг и соседей, и этот дерзкий немец осмелился думать и говорить..." — княгиня так сильно толкнула пьедестал с мраморным Амуром, что бедный бог любви полетел с него и отшиб себе оба крыла. Княгиня так задумалась, что совсем не заметила падения Амура...

"В самом деле — какое несчастное стечение обстоятельств! Кто не подумает?" — проговорила она вполголоса.

О! как много действует одно слово, один намек! Как правы были наши старики, говоря: "Слово не дубина, а убивает сильнее обуха!"

Только теперь все вдруг осветилось в глазах княгини и устроилось в какой-то особенный порядок идей, из которых мы переска-

жем только немногие:

"Она — моя невестка — жена моего Поля — дерзкая девчонка! Неужели ты думала? — И этим все должно кончиться для меня! — Какая глупость с моей стороны, какое безрассудство!"

Неужели совесть не сказала в это время княгине: "А отчаянное положение твоего сына? А то мгновение, когда ты плакала при одре его и говорила врачу: "Спасите его, спасите, чего бы то ни стоило!""?

Нет! Совесть ничего подобного ей не сказала.

Неясно, неопределенно думала теперь княгиня: "Дерзость этих немцев — лекарка эта — моя дочь!.." Да, сын княгини был уже здоров, и чего же еще более? Какая была надобность, если это непостижимое таинство природы, совершившееся над сыном княгини, должно было кончиться, может быть, нежным чувством любви, если земному надобно было перейти в небесное! Какая надобность, что на светлой душе Эммы взор княгини до сих пор не открыл еще ни одного пятнышка! Какая надобность, если судьба уже благословила

два сердца на всю вечность быть одним сердцем и, разрывая их, надобно было растерзать их, облить кровью и, может быть, окровавленными руками положить во гроб — и юношу, спасенного Эммою, и девушку эту, спасительницу юноши... Зачем же не догадалась глупая судьба пустить его в мир каким-нибудь немцем-учителем, под пару немке, дочери небогатого чиновника? А теперь — он князь, а она мещанка, и судьбе вздумалось шалить так неосторожно сиятельными родословными?..

Но, что бы ни думала княгиня, она спокойно, не изменяя ничего прежнего, встретила Эмму и сына своего, когда они воротились с прогулки.

И как несправедлива была княгиня к бедной Эмме! Прочтем письмо, посланное Эммою к Фанни через несколько дней после того.

Ты спрашиваешь меня, милый друг, почему ни однажды не упоминала я тебе о молодом князе; ты говоришь мне, что заочно видишь, как я буду краснеть, читая твое письмо. Ошибаешься, Фанни: я читала письмо твое и не краснела. Ты шутишь над отысканным идеалом, несправедливая Фанни! Нарочно хочу написать тебе мою полную исповедь, и если бы не грешно было божиться, я наперед побожилась бы тебе, что говорю сущую правду.

Всегда бранивала ты меня за мои странные мечты, за мои несбыточные понятия о том, что люди называют любовью. Виновата ли я, милый друг, что иначе не могла думать? Не знаю, как и отчего составляются в душе нашей понятия, но не такого мужчину, не такую любовь могла любить я, каких мужчин знавала я на свете и какую любовью любила ты, Фанни, и другие подруги.

Молодой князь С\*\*\* также совсем не тот человек, которого ждала мечта моя — нет! Он не тот! Сказать ли тебе, Фанни? Сначала мне

самой казалось, что этот бедный страдалец в самом деле приведен к сердцу моему из миллионов людей, чтобы молитва моя и непонятное действие, которым могу я возвратить ему разум, исцелили его и чтобы после того он навек отдал мне свое сердце, навек взял мое. Никогда подобное чувство не могло бы запасть в душу мою, если бы я встретила князя в обществе, в блестящем светском кругу, с его отличиями по роду и званию; но ты знаешь, как странно мы встретились, — я могла думать, могла мечтать о родной душе моей... Фанни! мысль эта мелькнула в душе моей, когда не князь, но какой-то несчастный молодой человек встретился со мною. И при всем том только мелькнула у меня эта мысль, Фанни, и, уверяю тебя, тотчас исчезла невозвратно. До сих пор я вовсе не знаю, отчего именно надобна была моя воля для исцеления князя. Но я поняла это лечение так, что мне должно было желать ему исцеления, желать всем сердцем и молить о том бога. Фанни! я желала этого всем сердцем, я молилась — ничего более не делала я, но в этом соединялось все мое бытие, все мои мысли. Только это заняло

всю мою душу, с этим поехала я в деревню княжескую, об этом только крепко и постоянно думаю доньше. Недавно прибавилось к этому еще наслаждение: видеть, что предвещание доктора исполняется, и молодой князь получает постепенно ум, здоровье и молодость, и всем этим он мне обязан...

Припадков безумия у него вовсе не стало с самого приезда нашего в деревню. На другой день по приезде он явился уже одетый настоящим образом, только бледный, молчаливый, угрюмый. Так прошло несколько дней. Он беспрестанно находился с нами, но всегда молчал и сидел потупив глаза. По приказанию доктора, он должен был каждый день с ним прогуливаться. Странно, что всегда почти надобно было мне пристально поглядеть на него, чтобы он послушался. Однажды мы остались с ним одни. Я ласково взглянула на него, улыбнулась — он также улыбнулся, и угрюмость его пропала. Ах! как это обрадовало меня, обрадовало самую чистую, святою радостью! На другой день доктор велел мне идти гулять с ним, взяв его под руку. Князь задрожал, когда я протянула к нему свою руку,

протер себе глаза, но не мог не послушаться. Мы гуляли с ним долго и молча. В другой раз, прогуливаясь, я начала с ним говорить, и он охотно начал говорить со мною. Но еще долго после того не говорил он ни с кем, кроме меня. Мне удивительно было, что со мной разговаривать как будто кто-нибудь ему приказывал. Еще удивительнее казалось, что он походил в это время на ребенка, должен был прискивать слова, с видимым усилием мыслить; иногда он отвечал совсем не то, о чем его спрашивали, казался опомнившимся после того, думал и отвечал складно. Вообрази себе, милый друг, статую, которая постепенно оживляется: таков был этот бедный князь. Он очень не дурен собою теперь, когда изглаживаются в нем все следы его ужасной болезни; дикость глаз его пропала, и он всегда теперь одет прекрасно. По всему видно, что он получил отличное воспитание. Сумасшествие уничтожило в нем все это; только, я думаю, в душе его оставались какие-нибудь следы прежнего: ему стоит напоминать теперь — и иногда легко, иногда с трудом он тотчас вспомнит и начнет делать то, что делывал

прежде. Так я узнала, что он превосходно рисовал, и вот однажды велела ему сесть подле себя, взяла карандаш и начала рисовать цветок. Он смотрел внимательно. Кончив мой рисунок, я подала карандаш ему и сказала: "Нарисуйте и вы". Он казался изумленным, по обыкновению, протер себе глаза; я пристально смотрела на него; он взял карандаш, долго вертел его в руках. У меня на груди было приколото несколько цветочков, сорванных во время нашей прогулки. Я бросила их на стол и сказала: "Срисуйте их". И он начал рисовать их и срисовал прелестно подле моего цветочка; но работа казалась ему трудною: он думал, счищал написанное, опять рисовал. Наконец с улыбкой посмотрел он на меня и обвел гирляндой мой цветочек и нарисованные им. Точно так стали мы с ним играть на фортепиано в четыре руки и теперь играем всякий день. День ото дня показывает он более и более и природный ум свой и прежнее превосходное свое образование. Он уже говорит свободно со всеми; только все еще робок, застенчив кажется он, хотя прежде, сказывают, бывал отменно ловок и разговорчив. Душа его

также должна быть прекрасна. Вчера мы стояли с ним подле окна. На небе была великолепная радуга: она перегибалась по всему небу, казалась великолепным сводом небесным, и заходящее солнце изменяло и переливало непрерывно цвета ее. "Какая прелесть!" — сказала я. "Qui, — отвечал он и задумчиво прибавил, смотря на радугу: — Voyez avec quelle brillante variete il change ses couleurs; mais quelque changement qu'on apercoive dans ses teintes, n'est ce pas toujours le signe consolateur de l'amour celeste?" [21] У меня невольно навернулись слезы, когда, слушая эти слова его, я вообразила ужасное его состояние за несколько месяцев. В первый раз сам взял он тогда мою руку и, уныло смотря на меня, сказал: "Notre vie ici bas — rien que misere — un souffle et nous ne sommes plus; mais tout ce qui nous attriste et nous accable n'est fait que pour nous rapprocher de l'amour du Pere celeste..." [22]

Фанни! согласиись, что только прекрасная, чистая душа могла внушить ему сии слова. Но, милый друг! никогда в душе моей не заменит князь того, о чем мечтала я с тобою

некогда. Теперь мне, право, нет времени ни о чем думать, но в князе я вижу не тот прелестный образ, взор которого заставил бы меня потушить глаза, заставил сердце мое биться сильнее обыкновенного. Если бы можно было (надобно было, хотела я сказать), то я назвала бы чувство мое к нему какою-то родственною привязанностью — буду откровенною: чем-то больше дружбы, меньше любви. Признаюсь тебе, что видеть его, говорить с ним, изъяснять ему разные понятия сделалось для меня даже привычкою. Мне будет, может быть, грустно расставаться с ним, но мне не менее грустно расстаться и с княгинею. Я такая *animal d'habitude* [23], так привыкла к ним, даже к нашему чудаку доктору. Но какая же это любовь, Фанни? Похожи ли мои чувства на чувства Теклы? — Ты ведь читала и помнишь "Валленштейна". — Я совсем не замечаю в себе ни тайной грусти, ни уныния. Мы так весело играем, бегаем с князем, и мне всего более удовольствия приносит то, что милая моя княгиня радуется, смотря на нас. Меня любят здесь все, даже старая управительница англичанка, ужасная воркунья на дру-

гих. Но не думаешь ли ты, Фанни, чтобы все это заменяло мне вас — тебя, милая, и бабушку, и дедушку? Ах! нет — никто и никогда не заменит вас в моем сердце! Одного взгляда на великолепие и холодные условия приличия здешних достаточно напомнить мне, что не здесь мое счастье, не здесь назначение моей жизни... Я и забыла сказать тебе, что мы еще не скоро с тобою увидимся. Княгиня остается в своей деревне на всю зиму, и она упростила дедушку оставить меня с нею. Поверишь ли, что это сначала опечалило меня, когда я об этом узнала? Можешь судить после сего: справедливо ли все то, что я писала тебе о князе? Говорят, что в деревне глубокою осенью бывает скучно, а зимою совсем несносно. Мне кажется, напротив, должно быть весело. Отчего будут печалить нас желтые листья, падающие с деревьев, если мы знаем, что за осенью следует новая весна с новыми зелеными листьями? Грустно, если бы этого не было. Но человек? Где у него новая весна после его осени? Где? — А жизнь за гробом, милый друг! Помнишь ли последние слова бедного Пальмера: "There is another and a better world"

("Есть другой мир, лучше нашего")?.."

## XII

**К**нягиня. Итак, любезный г-н доктор, вы можете теперь ручаться за решительное выздоровление моего сына?

Доктор. Сколько ум человеческий может предвидеть, он вне всякой опасности. Дайте пройти зиме, и весной мы приступим к гимнастическим сильным упражнениям, станем пить кумыс, и к будущей зиме сын ваш делается здоровее меня, потому что сильный ревматизм мой с некоторого времени дает мне чувствовать жестокость здешнего климата, и я...

Княгиня (перебивая речь его). Я хотела посоветоваться с вами о том, не надобно ли теперь испытать какого-нибудь светского рассеяния.

Доктор. Нет! это еще невозможно. Ваши ночные выезды, театры, балы, городская жизнь вообще могут расстроить снова его здоровье. Еще год уединения, княгиня; попробуйте в деревне еще одно лето.

Княгиня. Боже мой! вы не поняли меня!

Могу ли скучать в какой бы то ни было глуши, если это необходимо для здоровья моего Поля? Нет! я думала так: нельзя ли у нас в деревне завести небольшие вечера. Несколько добрых приятелей и родных рады приехать к нам из Москвы, и собрания наши будут без шума, без блеска...

Доктор. Да, таким образом. В самом деле, это испытать нехудо; это может послужить к рассеянию вашего сына, и только это, может быть, решительно прогонит его задумчивость, его какую-то грусть и странную робость. Я забыл, что у светских людей рассеяние бывает стихиею, без которой они жить не могут и задыхаются, как рыба без воды. Вы правы, княгиня: немного более движения в жизни вашей не худо.

И через неделю, в день каких-то именин или чьего-то рождения, великолепно освещены были комнаты в деревенском дворце князя С\*\*\*. Множество гостей съехалось из Москвы накануне и с утра.

### XIII

**(Письмо, которого Эмма не отправила к Фанни. Оно было писано в ночь после княжеского вечера)**

"Фанни, милый друг! где ты? Приди ко мне, спаси свою Эмму! Она несчастлива, она гибнет, и ужас обнимает ее, когда она подумает о будущем!

Я не обманывала тебя, Фанни, когда писала к тебе прежде, что никакого чувства любви не ощущала я к Полю — у меня уже нет сил назвать его князем — нет! я не обманывала тебя: я сама этого не знала! Теперь — стыжусь сказать тебе, — теперь вижу, знаю, чувствую, что я люблю его, люблю так, что, несмотря на терзание, какое причиняют мне эти слова, — сто раз сряду готова я написать: "Люблю Поля!" И мне надобно было узнать эту страшную истину вместе с ужасающею уверенностью, что несчастное чувство мое есть безнадежное безумие, узнать эту истину вместе с терзательным чувством ревности и отчаяния. Все это совершилось для меня в

один день — и в один день передо мной раскрылась пропасть будущности, на краю которой столь беспечно стояла я; вдруг исчезло мое заблуждение, пропала тишина души, простота сердца, и все мучения любви я испытала в один день... И неужели так должно быть всю жизнь мою — всю жизнь? А если жизнь моя продолжится и вся станет походить на этот несчастный день... грешно ли молить о смерти? Неужели грешно? Но, великий боже! я ли искала Поля? я ли увлеклась в эту бездну несчастной страсти? Какая же невидимая рука злого демона увлекла меня?.. Я не могу плакать, Фанни; глаза мои горят, в груди жжет; все вокруг меня тихо и безмолвно, а мне чудится что-то похожее на похоронный звон. Не сказать тебе всего — я не могу: меня задушит! Но в силах ли буду я рассказать тебе все? Осмелюсь ли послать к тебе этот листок? Зачем нет тебя здесь: я все сказала бы тебе и убежала бы с тобою отсюда! — но в силах ли я бежать отсюда?

Дня три тому княгиня известила меня, что у них будут гости. Есть предчувствия: я этому верю теперь — мне показалось страшно это

известие; я чувствовала, как вся кровь отхлынула у меня от сердца и ударила в голову; мне невольно пришли на память непонятное впечатление, останавливавшее меня, когда я сидела в первый раз в карету с княгиней, мой ужасный сон накануне первого свидания с нею, моя робость, когда я вошла в дом княжеский. "Гости, съезд, знатные — а ты что будешь между ними?" Но Поль вошел в это время в комнату. Княгиня сказала ему о будущем празднике. Казалось, что и ему это не понравилось. "Он одинаково думает со мною!" — едва не проговорила я вслух. Поль предложил мне играть на фортепиано. Музыка рассеяла грусть мою, и в первый раз подумала я тогда: "На что нам другие люди, мне и ему? Не мне ли было суждено возвратить ему прелесть бытия? Могли ль сделать это другие? Он мой: я пересоздала его — он мое создание. Зачем хотят стать между нами другие люди? Где были они, когда, забытый всеми, Поль был страшный безумец и скрежетал зубами при одном взгляде на человека?" Мы разыгрывали "Олимпиаду" Чимарозы и именно ту арию Мегакла, где поет он:

*Addio mia vita; addio  
Mia perduta speranza. Il ciel ti  
renda  
Piu felice di me... [24]*

Я не могла продолжать: мне показалось, что я предсказываю свою собственную участь.

Сегодня с самого утра начали съезжаться гости. Простое, дружеское собрание княгини состояло человек из ста дам и мужчин: у знатных так много друзей... Меня оглушили громкими именами, превосходительствами, сиятельствами. Щегольские наряды, какой-то особенный язык общества, условный, непонятный для меня, взгляды гостей на меня, бедную Эмму, явно отличавшуюся от всех — одну не сиятельную, не превосходительную, неловкую, робкую — о! как все это унизило меня в собственных моих глазах! Я страшилась: не знают ли эти люди всех чудных событий между Полем и мною. Меня приняли бы тогда за магнетизерку, за шарлатанку. Ах! как я терзалась! И как обрадовалась я, заметив, что княгиня выдавала меня просто за бедную девушку, компаньонку, и я не видала ника-

кого признака удивления, зеванья на меня. Впрочем, удивление можем дать заметить только мы, bourgeois [25], а знатные всегда стыдятся и не показывают удивления. Я была забыта в этой толпе народа. Мимоходом молодые девушки говорили со мною этим милостивым, покровительным тоном, которому научаются они от пеленок. Увы! тут все были свои, равные — кроме бедной Эммы! В первый раз увидела я и добрую мою княгиню совсем иначе, как никогда еще не видывала: она иначе была одета, иначе говорила. И Поль явился тут в первый раз настоящим светским молодым человеком, щегольски одетый. Я изумлялась, не узнавала его — и не я была причиною этой перемены: она была тут, она — и что же? Могу ли я жаловаться на Поля? Она так прекрасна, она была всех лучше! Эмме ли спорить с нею, когда эта красавица давно обладает его сердцем...

Кто же она? — Ласковее всех встретила княгиня семейство N. N. — Я слыхала об этих соседях, но я не знала, что у графини есть дочь. Не знаю, как зовут ее по-русски, но все называют ее Моиною. И очаровательно хоро-

ша Моина, милый друг! Стройна, прелестна, резва, весела, говорлива. Поль разговаривал с каким-то мужчиною, когда вошла Моина с матерью. Он взглянул на нее, казался обрадованным. Ах! как хорош сделался он в это время, как заблестали его глаза, какой румянец опалил его щеки. "Моина! вы ли это?" — говорил он, с восторгом встречая молодую графиню. Так вот каков может быть Поль, когда любовь одушевляет его? И в первый раз — не зависть, — но ревность закипела в груди моей... Еще не понимала я чувства своего: голова у меня кружилась, в глазах было темно; я думала, что мне просто нездоровится, поспешила выйти в другую комнату, и здесь все было для меня разгадано. Сердце не ошибается: пусть целый мир разуверяет его — оно верит, пусть никто ничего не видит и все верят: его не обманешь — оно не верит. В другой комнате села я на стул и едва могла отдохнуть. "Вы что-то бледны, сударыня?" — сказала мне горничная княгини, любимица ее, Аграфена. Не знаю почему, я не могу любить этой женщины. Мне все кажется, что ее серые, змеиные глаза показывают злое сердце, хотя все гово-

рят, что она очень добрая женщина. Мне всегда казалось, что и она терпеть меня не может — не знаю за что. "Ничего", — отвечала я Аграфене. Тут она искривила свой рот и с усмешкою начала мне говорить: "Видели ль вы ее сиятельство, графиню N. N.?" Я молчала. "Посмотрите-ка на нее, сударыня, какова красавица, и что за пребогатая, что за превосходная! Кажется, она со временем не будет у нас чужою, и видно ей быть суженою нашего молодого князя. Он уже давно любит ее; почти вместе росли он и она и стоят один другого".

У меня достало сил уйти от злой болтунии и дотащиться до своей комнаты; но здесь силы меня оставили — я упала в обморок... Первая мысль, когда меня привела в чувство девушка, ко мне приставленная, была: "Несчастливая! ты любишь его!" Я увидела это, увидела ясно, и первая мысль о любви моей слилась с горьким отчаянием.

И мне надобно было опять идти в это блестящее шумное общество, целый день быть в нем, видеть, что Поль забыл самого себя и всех для Моины. И она глядела только на

него, говорила только с ним... Мне пришло в мысль, что мой взор, моя воля имеют непреодолимую силу над Полем; но очарование пропало: он не смотрел на меня более, не обращал на меня никакого внимания, ни разу не заговорил со мною: Эмма уже не существовала для него более...

Не знаю, как могла я прожить весь этот бесконечный, ужасный день. Вечером начались танцы — все были веселы, шалили, смеялись. Поль танцевал только с Моиною. Она танцует прелестно. Княгиня принуждена была наконец запретить Полю танцевать. И Моина тотчас отказалась от танцев; они сидели после того вместе и беспрестанно говорили, смеялись. Чего не успели они переговорить в это время...

Мне показалось, что и в доброй княгине произошла какая-то перемена, что она холодно простилась со мною, что ее взор изъяснял даже какое-то сожаление и какую-то скрытую радость, которою она хотела поделиться со мною... Но нет! Она, конечно, устала, утомилась — ей некогда уже было со мною разговаривать...

Бьет пять часов, а я еще не сплю и не понимаю, как прежде спала я с самого вечера, так охотно, даже не утомившись после какого-нибудь бала. Правда, я сегодня почти не танцевала, и мне не от чего быть утомленною...

Фанни! Не мой ли черед теперь сойти с ума? Сумасшедшая! Ах! нет — лучше смерть, смерть..."

## XIV

Через три недели после вечера княжеского доктор разговаривал с княгинею. Он ходил по комнате, был мрачен и задумчив. Княгиня спокойно сидела на своем диване с беззаботным, если не совершенно довольным видом. Взглянув на них, можно было сказать: он проиграл — она выиграла.

Но что же проиграл он? Что она выиграла? Не пояснит ли этого разговор их? К сожалению, мы не знаем, что они говорили прежде. Мы успели только к концу разговора.

— Мне очень хотелось бы знать причину неудовольствия вашего, любезный доктор, после всего этого.

— Вы правы, княгиня, правы; я ничего не

могу более сказать.

— И вы же говорите, что ее здоровье совершенно поправляется.

— Да, я позволил ей сегодня выйти из комнаты.

— Я прошу вас еще раз: не щадить ваших трудов и попечений.

— То есть микстур и порошков. — Доктор горестно улыбнулся. — Я не жалел их, княгиня.

— И вы полагаете, что опасность совершенно прошла?

Доктор молчал и ходил по комнате. Княгиня, казалось, ожидала ответа.

— Не знаю, — сказал наконец доктор с тяжелым усилием, — не знаю ничего, кроме того только, что вся наука человеческая есть гордость, помноженная на незнание и разделенная по правилу товарищества: философам — юристам — математикам — физикам — химикам — и лекарям! — Он шагал при каждом слове и, произнеся последнее, остановился против княгини с забавною досадою. Она рассмеялась.

— Это ваше дело знать, любезный доктор!

— Да, мое, разумеется; так заведено, и прекрасно заведено. Мы так легко отделяемся, когда исполняем по условию, какое записано в маклерской книге приличий общественных. Кто дает серебряный рубль бедняку и, давши, велит лакеям вытолкать его, тот благодетель. Кто разыграет лотерею в пользу нищих и съест за одним обедом четыре таких лотереи, тот добродетелен. Ну! Мы убьем человека и велим доктору лечить его. Доктор лжет, уверяя нас, что он вылечит, а мы лжем перед совестью, уверяя, что ничего не пощадим для спасения убитого нами; Княгиня улыбнулась.

— Да не смейтесь по крайней мере, княгиня! Разумеется, вам теперь смешно: перед вами здоровый сын и дурак доктор, который откровенно признается, что вся его наука вздор, а сам он глупец.

— Я просила уже вас объяснить мне причины вашего недовольствия. Разве болезнь Эммы не прекратилась?

— Нет! она прекратилась; а впрочем, кто же это знает.

— Ваша дружба к этой девушке увлекает

вас, хотя нет никакой причины беспокоиться. Разве не случается быть нездоровым всякому из нас? И если бы каждый раз доктора так боялись, как вы теперь, то надолго ли станут их? Мы, я и вы, исполнили весь долг наш к Эмме: она была у меня как родная, и я готова стараться о будущей участи этой доброй девушки.

— Что понимаете вы под этими словами: стараться о будущей участи?

— А что бы такое вы разумели?

— Я думаю, что возвышение духа, какое видели мы в Эмме, не дается человеку даром. Каждый негодяй, который вздумает подняться из грязной кучи других людей, получает за это щелчок от судьбы, и бедная эта девушка поплатится душою или сердцем за свое дерзкое возвышение.

Доктор выискивал выражения, но не мог найти и с досадою сказал:

— Просто сын ваш и Эмма любят друг друга; и Эмма, и сын ваш могут погибнуть от этого.

Княгиня рассмеялась.

— Любезный доктор! — сказала она хлад-

нокровно. — Вы знаток в болезнях тела, но не души. Уверяю вас, что сердечная связь между сыном моим и Эммою — мечта, порожденная вашим воображением.

— Как: мечта? Вы приучили меня, княгиня, к откровенному обхождению. Я имел счастье оказать вам услугу. Странно, что я говорю теперь с вами совсем не по медицинской части. Но с кем же и говорить мне? Вы добры, вы умны — вы мать. И с кем же вам говорить? Около вас такая... такая сволочь, что... мне надобно с вами говорить.

— Я привыкла к откровенности вашей, доктор. Можете все говорить, даже и не по медицинской части; впрочем, предупреждаю вас, что вы не знаток в любви.

— Как же не любовь это сначала тайное чувство, страх какой-то, который показывал сын ваш? Беспрекословное повиновение его... ну! оно и должно было перейти в любовь...

— Нисколько, доктор. Кто поймет, что им повелевали, что над ним имели власть поневоле — тот не может любить.

— Ну! правда; положим, что правда. А если Эмма, передавшая ему свою душу...

— Сделается так самолюбива, что влюбится в душу свою, ему переданную?

— Можно ли шутить!

— Но что же делать мне тогда?

— Я уверен, что болезнь ее была следствие страшного душевного перелома! она любит!

— Разве она вам сказывала?

— Эмма станет сказывать? Эта девушка станет сказывать? О, княгиня! как вы не понимаете ее!

— Но неужели мне должно подвести к ней сына моего и сказать: возьми его и женись на нем, хоть он тебя не любит?

— Княгиня! ради бога! это ужасно! За что же она погубила себя? За что она спасла вашего сына?.. и это ли награда! Княгиня! душевные болезни ужасны. Я исцелил Эмму от горячки, но душу ее — исцелит только бог...

— Предоставим же все ему.

— Да! надобно ему предоставить судьбу твою, ему, а не людям, бедная Эмма! Но еще слово, княгиня, и я или поцелую ручку вашу с таким же благоговением, с каким католики целуют папину туфлю, или...

— Я передвижу ваш вопрос: могла ли бы со-

гласиться я на свадьбу сына моего с Эммою, если бы он любил ее? Поцелуйте же с благоговением руку мою. Хоть это и походило бы на Памел и Нанин — я согласилась бы.

— И презрели бы все предрассудки вашей знатности?

— Вы почитаете меня каким-то исключением из людей! — смеясь сказала княгиня.

"Почти, — думал доктор, — и ты не смеялась бы так, если бы говорила правду".

В это время вдали, в зале, показалась Эмма. Она шла тихо, бледная, слабая; румянец ярким пятном был виден на обеих щеках ее... неестественный румянец! предвестие разрушительной болезни, которая так страшно терзает человека внутри, когда наружно он кажется спокоен и здоров.

Княгиня пошла к ней навстречу, дружески взяла ее под руку и тихо повела в свою комнату, говоря:

— Поздравляю вас, милая Эмма, с вашим выздоровлением. Сядьте, сядьте; как вы себя чувствуете?

— Теперь хорошо, княгиня. Я пришла поблагодарить вас за все ваши попечения, за

всю вашу нежность и заботливость.

— Можно ли, милый друг...

— Ах! не знаю, чем могу засвидетельствовать сердечную благодарность за одно то, что вы скрыли болезнь мою от дедушки и бабушки! Бедные старики испугались бы — они меня так любят...

— Конечно, не более того, как я люблю вас, мой друг. Эмма поцеловала руку княгини.

— Теперь позвольте мне просить вас отпустить меня к моим родным. Я не нужна вам более; а невесело смотреть на больных...

— Как? вы хотите, при вашей слабости, зиму, ехать в Москву?

— Сил у меня достанет.

— Только достанет! И за кого почитаете вы меня, Эмма! Мне согласиться отпустить вас теперь? Никогда! Мы дождемся лета, проведем его вместе.

— А потом, надобно же расстаться? Ах! вы скоро забудете Эмму, если бы я и осмелилась ласкаться надеждою, что заслужила вашу благосклонность... Но мне тяжело расставаться с вами: я так полюбила вас...

Княгиня усмехнулась,

— Полноте говорить об этом; думайте только о своем здоровье. Не холодно ли вам здесь? постойте, я принесу вам мою шаль...

— Вы беспокоитесь...

— Сидите, сидите, милый друг!

Княгиня пошла в другую комнату. Эмма осталась одна. Три недели она не выходила из своей комнаты, и осматривалась кругом. "Здесь все так же, как было; а я? Какая перемена!" В это время в дальней комнате раздались звуки фортепиано. "Это он!" — думала Эмма. Играли бывший тогда в большой моде польский Огинского. "О! какие звуки!" Эмме пришла в голову история бедного сочинителя, его страсть, горесть, которую услаждал он сочинением, своих польских. "Поль! перестань, перестань! — готова была она закричать, хотя князь не мог слышать ее голоса. Но он в самом деле перестал. — Неужели воля моя еще имеет над ним власть? Как бы желала я теперь взглянуть на него..."

Три недели Эмма не видала молодого князя, не видала с самого вечера княжеского. Он ни разу не приходил посетить больную Эмму. Только доктор сказывал ей, что князь здоров,

что он нередко катается в санях и играет с ним на бильярде, что он весел, но очень сожалеет о болезни Эммы.

Длинная анфилада комнат открывалась перед Эммою и оканчивалась большим зеркалом, против которого она сидела. "Боже! это он! он идет сюда; он еще мой!"

Князь шел весело, насвистывая какую-то арию. Увидев Эмму, он, казалось, обрадовался, радостно подошел к ней и несколько раз поцеловал ее руку, говоря: "Вы здоровы, милая Эмма? как я рад, что вижу вас..."

Какая перемена в нем и в ней! Где эта прежняя повелительница князя? Неужели это она, бледная, слабая, оробевшая, потупившая глаза? Неужели этот молодой, ловкий, невнимательный человек — тот бедный сумасшедший, который сидел в углу и молчал, не смея взглянуть на Эмму...

Княгиня вошла в эту минуту, держа в руках шаль. Она остановилась на пороге, изумленная: внимательно, заботливо устремила она глаза на сына своего и на Эмму. Через минуту беспокойство ее рассеялось. Она окутала шалью Эмму. Начался разговор...

Бедная девушка! Она думала: "Поль не переменялся; я несправедливо подозревала его! И его ли душа покорится этой Моине, этой светской вертушке!" Эмма оживала. Князь собирался кататься, но велел отложить санки. Он остался с матерью и с Эммою.

## XV

**К**ак странен человек уступками в своей жизни! Сколько богачей, лишившихся огромного состояния, благодарили судьбу за бедную жизнь, оставленную им! Человек плывет на гордом корабле, почитает себя царем стихий, досадует на медленность бега своего; буря, корабль разбило в щепы, и — царь стихий благословляет судьбу, что она выкинула его, полумертвого, на бесплодный утес.

Бывает время какого-то странного состояния человеческого, между счастьем и бедствием, время какого-то самозабвения, когда мы страшимся сами себя и не хотим ни оглянуться, ни взглянуть вперед. Это время, когда тучи нависли отвсюду и дождь уже каплет огромными, ленивыми каплями. Еще мгнове-

ние — тучи разорвутся, и дождь, шумя, сольется с огнем молний и грохотом грома. Но, может быть, не будет ни грома, ни молнии; лучи солнца пробьются сквозь мрак туч; вихрь изорвет их, разбросает по небу, и день кончится светлым захождением солнца.

Так и в нравственном мире, и в мире страстей. Так было и с Эммою. Беспечность свойственна человеку; она дальняя родня наслаждению.

Молодой князь С\*\*\* сделался внимателен, даже изъявлял какую-то благодарность, какую-то нежность к Эмме, и она оживала с каждым днем.

Не думайте, чтобы Эмма, как опытная какая-нибудь кокетка, надеялась увлечь князя в сети свои. Нет! она радовалась, как дитя, не могла скрывать своей радости, когда он говорил с нею приветливо, нежно, и — ничего более она не требовала, даже страшилась требовать.

Не думайте, чтобы Эмма мечтала когда-нибудь достигнуть, любовью князя, исполнения каких-нибудь честолюбивых надежд! Мысль об этом не касалась души ее.

Молодой князь подходил к Эмме с каким-то чувством благоговения. Он не был еще испорчен светом; он был уже испытан несчастьем, и это несчастье было для него грозным разоблачителем людского сердца. Он знал, чем был одолжен Эмме. Ему приятно было теперь, в свой черед, усладить страдания Эммы своею услужливостью. Но он не любил Эммы.

Однажды, когда он и мать его, безотлучно надзиравшая за каждым движением сына, просидели с Эммой целый вечер, князь, возвратясь в свою комнату, задумался и сказал: "Какая умная девушка!.. какая добрая!" — прибавил он, подумавши несколько. Если мы хвалим ум, красоту, сердце — мы не любим. Кто любит, тот не хвалит или хвалит именно то, что не хорошо. Он как будто боится высказать людям, что пленяет его: это тайна влюбленного, и часто он сам не умел бы растолковать ее. — В этот вечер Эмма была чрезвычайно словоохотна: она так мило, так добродушно говорила о мире, о людях, о дружбе, о своем детстве.

Княгиня несколько не была обеспокоена сближением сына с Эммою. Она уже разгада-

ла его душу.

Доктор часто задумывался, нюхал табак, уходил справляться с психологическими трактатами ученых о любви, о дружбе и хмурил брови.

Между тем дни летели, снега таяли, зима умирала... Леса зазеленели. Реки разломали наконец ледяной череп свой, жаворонок запел над лугами. Доктор беспокойно, наблюдал пульс Эммы. Она была слаба. Повеея весна, и он предписал Эмме выезжать прогуливаться. Князь сопровождал ее в этих прогулках, галопируя подле ее кабриолета.

Был прекрасный весенний день. Солнце ярко светило; свежий ветерок веял сквозь растворенные окна. Доктор советовал воспользоваться хорошою погодою и погулять. Эмма села в свой кабриолет. Она сама правила смирною лошадкою; князь скакал подле нее верхом; жокей следовал за ними. Решили ехать далеко; останавливались, любовались видами окрестностей; потом опять ехали далее. Наконец княжеский парк кончился — перед гуляющими было обширное поле с перелесками.

На другой стороне поля, между сосновым лесом появилась большая кавалькада дам и мужчин, верхами и в экипажах. Они, казалось, все были щегольски одеты. Князь увидел их и умолк среди начатого разговора.

Эмма с изумлением взглянула на него. Он остановил свою лошадь и неподвижно смотрел на гулявших вдали. Взглянув в свой лорнет, Эмма узнала эту толпу: Моина ехала верхом, прелестно одетая; ее окружало много дам и мужчин, но только Моину разглядела Эмма. Этого было довольно. Вожжи едва не выпали из ее рук.

— Князь! вас заметили, — сказала она дрожащим голосом. В самом деле, двое мужчин скакали через поле прямо к князю. Все гуляющие остановились.

Князь не отвечал ни слова, стоял неподвижно. Эмма повернула кабриолет свой снова в парк и погнала свою лошадку. Из перелеска, где не могли видеть ее, она видела всех. Эмма остановилась: князь был уже окружен спутниками Моины. Она сама ловко подскакала к нему.

Эмма погнала свою лошадку, гнала ее по-

спешно, быстро, переезжала с одной дорожки на другую, сама не зная, куда едет. Свежий весенний воздух казался ей чем-то ядовитым; песня жаворонка звучала насмешкою над людьми. Наконец перед ней широкая дорога.

— Куда же эта дорога? — спросила Эмма у жокея.

— Вы, сударыня, далеко заехали направо. Это дорога в...скую пустыню.

"Туда!" — подумала Эмма.

— Далеко ли до пустыни?

— Версты три.

— Мы еще застанем обедню?

— Кажись, застанем. Солнце еще не так высоко.

У монастырских ворот оставила Эмма экипаж и жокея и пошла в церковь, обедня уже кончилась. В приделе служили молебны. В другой придел вошла Эмма. Здесь, где она почитала себя никем невидимою, кроме бога, упала она на колени, и слезы полились ручьями из глаз ее; судорожные рыдания вздымали ее грудь — она плакала, не молилась; ни слова, ни мысли не приходили ей в голо-

ву.

Но Эмма не замечала, а подле нее, невдалеке, стоял монах и наблюдал за нею. Его бледное, желтое лицо, изрезанное глубокими морщинами, показывало, что не лета, но страдания убелили его волосы. В глазах его светился ум, видна была душа, не побежденная ни миром, ни бедствиями, но вся перешедшая в упование, что за гробом есть мир, есть другой мир света тихого и незаходимого. Этот взор ничего не мог искать на земле.

Приклонив голову к холодному столпу, одному из четырех, на которых держался купол церкви, холодному, безмолвному свидетелю стольких слез человеческих, Эмма едва не лишилась чувств. Монах подошел к ней и чистым немецким языком сказал ей:

— Сударыня! вы нездоровы — поберегите себя.

Эмма с изумлением взглянула на монаха. Она узнала в нем отца Паисия, духовника княгини; благочестивого инока, учредителя хора в монастыре. Но до сих пор она думала видеть в нем одно простое благочестие и никогда не слыхала от него речей. Голос, тон

разговора показали Эмме ее ошибку. Она увидела человека образованного, бросившего мир, скрывшего под иноческою рясою растерзанную душу свою и верою и благочестием заменившего надежды на бедное счастье мира.

Эмма поспешно отерла слезы свои, встала, но оперлась о стену, шатаясь, едва не падая.

— Дочь моя! — сказал отец Паисий — голос его был голос отца, — если ты ищешь здесь утешения, оставь все условия мира и предомною, служителем бога-утешителя, будь младенчески открыта душою. Если грех тяготит тебя, я буду за тебя молиться и напомню тебе, что он приходил в мир не праведных призывать на покаяние, но спасти грешных. Если бедствие налегло на юную душу твою, в слове бога ты найдешь отраду скорбной душе. Но не отчаяние, а надежда да будет твоим путеводителем.

— Отец мой! я лютеранского исповедания.

— Что мне за дело, на каком языке и в каком храме молишься ты богу! Его отеческие объятия равно отверсты для всех; служитель алтаря равно приемлет к сердцу каждого

несчастливца, дочь моя.

— Я несчастлива, отец мой!

Слезы опять полились из глаз Эммы.

— Выйдем отсюда. Свежий воздух оживит тебя; братья могут здесь заметить скорбь твою.

Отец Паисий пошел из церкви; Эмма следовала за ним невольно. Недалеко от церкви было кладбище, усаженное деревьями. Дерновые скамейки сделаны были между могилами. Их осеняли деревья, едва зазеленевшие свежими листьями; молодая травка пробивалась на могилах между иссохшею прошлогоднею травою.

Здесь, подле одной могилы, на которой рука времени уже разломала надгробный камень, села Эмма, и свежий воздух оживил ее. Она огляделась кругом: монастырская ограда, храм божий, могилы, благочестивый, поседелый инок. Недалеко оттуда тянулся ряд келий; несколько пришельцев в пустыню отдыхали на могилах, беспечно, беззаботно. Дитя играло тут подле бедной какой-то женщины, уснувшей от усталости. Старик, товарищ богомолки, развязав свою котомку, вынимал из

нее куски черствого хлеба. Эмма взглянула на небо: оно было распростерто над нею, светлое, весеннее, оживленное роями птичек, мелькавших по поднебесью. Эмма вспомнила, что такое же светлое небо было распростерто над нею, когда она в первый раз увидела сумасшедшего князя. Но тогда как высоко стояла она над миром! — Ее окружали родные в мирном приюте своем. А теперь она одна, среди могил, растерзанная, униженная миром...

— Дочь моя! — сказал ей отец Паисий, когда Эмма отдохнула немного и плакала уже не в отчаянии, но тихо, облегчительно, — дочь моя! забудь во мне инока. Не думай встретить во мне грозного судию твоей совести, твоей души. Ты видишь человека. Тот, кто сам плакивал кровавыми слезами, кто, умирая за мир, был напоям горечью, тот призывает к себе только бедствующих. Я испытал страдания; я был обольщаем великими надеждами — я знаю мир и скорби его — скорби страшные, от которых и теперь болит душа моя и которые забываются только в могиле. Я терял милых сердцу, был унижаем, от-

чаивался...

Он умолк.

— Отец мой! вы меня знаете, — могла только одно отвечать Эмма.

— Знаю более, нежели ты думаешь. Твоя душа чиста. Никакая тайна твоей покровительницы, княгини, не скрыта от меня. Бедная жертва судьбы непостижимой! Чего ищешь ты в мире? Твое счастье погибло. Мудрость человеческая запуталась в твоей судьбе; она оторвала тебя от назначения твоего — тихо провести век в кругу смиренных родных и друзей — и бросила в величие, знатность, великолепиие...

— Отец мой! не я пришла в этот чужой мне мир...

— Зачем же остаешься ты в нем, когда видишь, что он не твой?

— Куда же убегу я!

— Туда, где тихо протекло твое детство. Удались отсюда, дочь моя: ты здесь чужая — там родная.

— Могу ли возвратить мое прежнее спокойствие, мою детскую беззаботность...

— Ты удалишься бедствующею, но чистою,

страдающею, но в мире с богом. Неужели не видишь ты, что если еще останешься здесь, то демон страстей начнет рыть в сердце твоём могилу для твоей гибели? Твое чистое чувство, в котором никто не посмеет теперь обвинять тебя, потускнеет в буре страстей. Ревность, зависть, ненависть овладеют тобою. Спаси себя, дочь моя! Смотри в, свою душу и береги чистоту ее. Кто принесет растерзанное сердце к престолу бога — тот будет там сыном; но сердцу, отемненному страстями, если и не падшему в преступление, престол бога явит седалище грозного судии. Пусть будут виновны пред тобою люди: они отвечают за то богу, — не будь виновна перед ними.

— Слова ваши, отец мой, терзают душу мою! Подкрепите меня...

И умилительная беседа была продолжительна между Эммою и благочестивым иноком. Всю душу свою открыла ему Эмма, и все утешения веры и надежды он пролил на сердце ее, растерзанное любовью.

Благоговейно поцеловала руку его Эмма и тихо отправилась в княжескую деревню. Здесь встретило ее большое движение:

несколько экипажей и верховых лошадей стояло во дворе. Она узнала, что княгиня собирается ехать в гости. Несколько человек соседей шумели в бильярдной. Эмма прошла в свою комнату по заднему крыльцу. Ей сказали, что княгиня давно спрашивала ее. Эмма чувствовала себя утомленною, но готовою на все. Ей казалось, что княгиня зовет ее сказать ей роковое какое-нибудь решение. "Боже! я готова!" — сказала Эмма, обративши взоры к образу и сложив на груди руки. Она оправилась и пошла к княгине. Румянец был виден на щеках ее от прогулки и от всего, что чувствовала и слышала она в это утро.

## XVI

— Вы загулялись, милый друг, — сказала Эмме княгиня, — и я начинала беспокоиться за вас. Какой ветреник этот Поль: оставил вас, уехал к графине N. N. и прислал сказать, что там пробудет целый день.

— Мы встретили графиню с большим обществом. Мне не хотелось, чтобы меня заметили, и я оставила князя, решаюсь еще поехать на свежем воздухе.

— И очень хорошо сделали. Посмотрите, как расцвели розы на щечках ваших.

Эмма горестно улыбнулась. Княгиня не заметила ее улыбки, примеривая брильянтовые серьги перед зеркалом.

— Вы и меня взманили гулять, — сказала она. — Мы едем обедать к соседям нашим В. В.

— Мне позволите вы остаться дома? — с беспокойством спросила Эмма.

— Думаю, что вам нужно теперь всего более спокойствие, а там будет толпа народа.

Княгиня расположилась на своем диване и посадила подле себя Эмму.

— Я знаю, милый друг, — сказала она, —

что вам в тягость шум и большой свет. Вы любите уединение, тишину семейной жизни, домашнее счастье. Ах! кто бы не променял на это самой блестящей доли. Как грустно смотреть на людей, которых рождение и воспитание увлекают в свет! Как часто, смотря на вас, я думала даже о себе самой...

— Вам ли говорить это, княгиня!

— Почему ж не говорить мне? Я чувствую, что не рождена для большого света, и только звание и воспитание сделали его для меня сносным. Вы знаете моего мужа: мог ли он составить мое счастье?

Откровенность княгини изумила Эмму.

— И потом, потеря детей, болезнь одного, оставшегося мне сына!.. Я могла бы осчастливить человека с душою и сердцем, милый друг: я была бы готова отдать за это многое. Судьба лишила меня всех средств жертвовать чем-нибудь для людей, милых мне, а что может заменить наслаждение таким пожертвованием.

"Пожертвованием?" — думала Эмма в недоумении.

— Воображаю себе: какое небесное чувство

должно наполнять душу, например, той девушки, которая для счастья своих ближних, своих родных решилась бы пожертвовать какою-нибудь безрассудною страстью; променять мимолетное наслаждение на прочное добро; заменить прихоть воображения постоянным наслаждением добродетели и тихой радости.

Эмма чувствовала лихорадочную дрожь по всему телу.

Княгиня не смотрела на Эмму, казалась задумчивою и, перебирая в руках золотую цепочку, на которой были дорогие часы ее, продолжала говорить:

— Мне надобно посоветоваться с вами о важном деле, милая Эмма. Посоветоваться; не советовать хочу я вам. Вы знаете, что я привыкла любить вас, как дочь.

"Дочь!" — Эмма вздрогнула при этом слове.

— Вы привязали меня к себе вашим милым сердцем, вашею душою, чистою и прекрасною. Вы, конечно, не заметили в доме моем никакой разницы против родственной любви ваших добрых родных; вы были мне подругою в моей скорби, и все, что могла я де-

дать для вашего удовольствия, я делала...

Эмма подняла глаза. Взоры ее обратились на эстампы, расставленные над диваном, и остановились на одном большом превосходном эстампе. Тут изображен был Данте, изгнанник из отчизны, мрачный, угрюмый беглец. Он стоял в бедной одежде на первой ступеньке великолепного крыльца, ведущего в какой-то огромный дворец; страннический посох был в руке его; волосы его развевал ветер чужбины, и уста его только что не произносили слов, выгравированных внизу эстампа:

*Tu proverai si come sa di sale  
Lo pane altrui, e come è duro  
calle  
Lo scendere e l'salir per Paltrui  
scale... [26]*

— Княгиня! скажите, к чему угодно вам говорить все это? Какое пожертвование от меня надобно? Что должна я сделать — для чьего бы то ни было спокойствия, счастья...

— Этого надеялась я от вас, милый друг, и потому заботилась устроить будущую судьбу вашу. Я знаю состояние ваших родных...

— Разве я требовала от вас чего-нибудь и когда-нибудь, княгиня?

— О боже мой! К тому ли говорю я это? Ваш дедушка стар; братцы ваши еще так малы; вы должны будете заботиться об их участи, но можете ли вы сделать это, вы, девушка, одинокая...

— Есть отец сирот, княгиня...

— Благочестивая мысль. Но мы живем не в век чудес, милый друг мой. Вам надобно избрать себе надежного покровителя... — Княгиня помолчала с минуту. — Вы знаете нашего почтенного знакомого, полковника Доброва? вы видели его раза три у нас в доме. Он предлагает вам свою руку.

"Великий боже! — думала Эмма. — Я была готова на все; но — я человек! Это слишком, творец, спаситель мой! Есть мера всему, есть предел всему, кроме твоего милосердия."

Полковник Добров был сорокалетний вдовец, богатый помещик...ской губернии. Потеряв первую жену свою, он отказался от службы и жил несколько лет в деревне, занимаясь воспитанием своего маленького сына. Не знаю, наскучив ли уединением или по делам

каким, он приехал в Москву и посетил князя летом в деревне. После того он приезжал еще раз, говоря, что решил провести зиму в Москве. В третий раз приехал он и долго говорил с Эммою о погоде, о немецкой литературе, о ее дедушке. Через неделю княгиня получила от него хорошо переписанное письмо, содержание которого мы теперь знаем.

Эмма молчала, а княгиня распространилась о любви полковника к первой жене его, о прекрасном его состоянии, о том, что он устроит будущую судьбу братьев Эммы.

Эмма не плакала. Княгиня кончила тем, что решилась взглянуть на нее. Эмма была бледна, но спокойна; она даже улыбнулась.

— Позвольте мне, княгиня, обыкновенный ответ невесты. Я слыхала, что девушки всегда отвечают на предложения, подобные вашему: мне надобно подумать.

— Разумеется, милая Эмма. Моих слов вы, конечно, не ожидали.

— Признаюсь. — Эмма встала и хотела идти.

— Да, кстати, милый друг: не будете ли вы писать к вашим в Москву? Сейчас едет туда

наш обыкновенный посланник.

— Буду писать. Мне необходимо надобно писать к своим.

Княгиня осталась одна, нахмурила брови и отирала пот батистовым своим платком. "Тяжелая обязанность матери!" — шептала она.

Эмма остановилась на пороге своей комнаты. "Ты будешь гробом моим! — подумала она, обзревая свою комнату. — Через этот порог мне уже не переходить более".

Она села к столику и написала следующие строчки:

"Фанни! Если ты меня любишь, если ты любишь своего Теобальда, поспеши приехать ко мне, чтобы не умереть мне на чужих руках. Попроси своего Теобальда сходить к дедушке, приготовить его к вести о моей смерти и приехать с ним сюда. Но сама приезжай прежде их. Поспеши, Фанни, ради бога поспеши!.."

— Отдай эту записочку по адресу и вот тебе на водку, только не задержи и отдай записку тотчас по приезде в Москву. Мне это очень нужно.

Твердо проговорила все это Эмма послан-

ному в Москву. Она села после того к окну и смотрела, как подъезжал экипаж княгини. На самых этих вороных конях она приехала с княгинею из Москвы.

## XVII

Княгиня возвратилась домой поздно. Когда на другой день проснулась она, Аграфена доложила ей, что барышня Эмма Ивановна вчерашний день опять занемогла, и, кажется, очень сильно.

— Для чего ж ты, дура, не сказала мне этого вчера, когда я приехала?

— Я не хотела беспокоить ваше сиятельство.

Княгиня оставила свой завтрак и пошла в комнату Эммы.

Перед этою комнатою встретил ее доктор, только что оставивший Эмму. Он всю ночь просидел у ее кровати.

— Что ваша больная? — поспешно спросила его княгиня.

— Ничего; ей теперь лучше. Не беспокойте ее, княгиня.

— Мне надобно ее видеть.

— Для чего же, княгиня? Она теперь спокойнее и просит послать за духовником вашим, монахом Паисием. Да, она еще просила меня извинить ее перед вами, что причиняет вам столько неприятностей своею болезнью. Прикажите поскорее послать за этим монахом; а что касается до беспокойств, причиненных вам нездоровьем Эммы, то они продолжатся немного времени. Эмма не проживет до вечера.

— Любезный доктор!..

— Да, на этот раз наука меня не обманет... Княгиня не в силах была ни идти к Эмме, ни говорить.

Она пошла в свой будуар. Старый князь встретил ее в зале.

— Правда ли, что наша немка отчаянно больна и умирает? — спросил он.

— Да, — отвечала княгиня.

— Как скучно! Филька! вели заложить мою карету. Adieu, ma chere! я еду в Москву.

— Теперь?

— Да, ты знаешь, что я терпеть не могу мертвых и теряю сон и аппетит, когда в доме есть покойник.

Через час загремел экипаж княжеский и в самых воротах столкнулся с старинными дрожками, на которых приехал духовник княгини.

Инока ввели в комнату Эммы. Больная сидела в больших креслах против окна, обложенная подушками.

— Отец мой! — сказала ему Эмма слабым, едва слышным голосом. — Теперь скоро кончится все: и борьба, и страдание. Одна просьба к вам, моему последнему утешителю на земле: совершите надо мною святое таинство обращения в православную веру и, заклинаю вас, упросите княгиню, чтобы меня похоронили на здешнем сельском кладбище.

— Дочь моя! благословенно твое желание, и святая церковь православная всегда готова принять прибегающего к ней. Но что за мысль о кладбище...

— Неужели это грех? Здесь положены его предки... здесь положат и его, где бы он ни умер и сколько бы еще лет ни прожил. Боже! дай ему жизнь долголетнюю и счастливую; но придет и его черед. Бренные кости мои возрадуются, что на одной божией ниве вос-

станем мы некогда: восстану я — не упрекать его, но встретить взором святой любви, которого не узнать ему в здешней жизни; восстанет и он — не отвергнуть меня, но вместе приблизиться к трону любви бесконечной.

Благочестивый инок не мог удержать слез своих. Он положил обе руки на голову Эммы и молился о ней...

Едва кончился обряд миропомазания и Эмма причастилась св. тайн, когда тихо вошла в комнату Фанни и со слезами упала у ног своей подруги.

— Неужели и дедушка приехал с тобою? — спросила Эмма беспокойно.

— Нет, я одна.

— Слава богу! я не дождусь его, если он придет завтра... Сядь здесь, подле меня, Фанни; подвинь мои кресла сюда, поближе к окну.

Все оставили комнату; Фанни села подле своей подруги.

— Фанни! дай мне свою руку. Счастлива ли ты, Фанни, с твоим Теобальдом?

— О, милый друг мой!

— Фанни! если старик мой не переживет

моей смерти — будь матерью братьев моих...  
— Живи, милый друг, подумай о нас!  
— Нет! земное уже исчезло для глаз моих...  
Но, Фанни, посмотри — мои взоры — темнеют, — кажется, это верховую лошадь ведут по двору... Он едет куда-нибудь! Еще раз увидеть его... Фанни! пошли к Полю кого-нибудь сказать, что я желала бы видеть его, поговорить с ним...

## XVIII

Молодой князь был в своей комнате, совсем одетый для прогулки. Другой какой-то молодой человек стоял подле него. Они смеялись и разговаривали друг с другом.

— Время проходит, Поль, нас ждут; поторопись! готова ли твоя лошадь? Какой ты неразвязный! Все как будто прежняя дурь осталась в твоей голове!

Вошел лакей княгини.

— Что ты?

— Барышня Эмма Ивановна приказала вас просить к себе поскорее; ей, приказала сказать, крайняя нужда видеться с вами.

— Что такое, Поль? Какая барышня Эмма

Ивановна?

— Компаньонка маменьки.

— Да что у тебя с ней за дела? Поль! что это такое?

Молодой князь покраснел от двусмысленного взгляда своего товарища.

— Вздор! я тебя не отпущу. Что за ребячество! что за любовь в домашнем уголке! что за романы!

— Ничего; оставь свои глупые подозрения.

— Ну! так вели сказать ей...

— Она опять больна, говорят? — спросил князь у лакея.

— Очень, говорят, нездорова, ваше сиятельство.

— Ну, так ты что за лекарь? Вздор! Если и были какие-нибудь сплетни, приедешь еще и тогда можешь прощаться и плакать.

— Да разве она очень нездорова?

— Не могу знать, ваше сиятельство.

— Чего тут толковать! Скажи, что ты уехал. Человек! поди, скажи, что ты не застал уже князя. Не правда ли, Поль?

— Да, да!

Эмма печально улыбнулась, когда ей при-

несли ответ князя. Она подняла руку и, указывая в окно, сказала Фанни:

— А вон, видишь ли, Фанни, ему только теперь подвели лошадь его — дай мне лорнет — это он, кажется, идет по двору. Боже!.. когда он воротится — ему скажут, что Эммы нет уже более. Прости, Поль, прости!..

Она сложила руки и закрыла глаза свои. Фанни спешила позвать доктора. Он вошел и молча, сложив крест-накрест руки на груди, смотрел на Эмму. Смертная бледность уже обхватила губы ее; пальцы ее холодели... Веселая ласточка прилетела в это время на окошко, запела, защебетала, вспорхнула, и — с ее отлетом не стало Эммы. Фанни рыдала, целуя охолодевшее тело ее. Дверь растворилась. Отец Паисий вошел в комнату; за ним шла княгиня. И он, и она остановились в изумлении. В другой комнате столпились люди княжеские.

— Умерла, умерла! — говорили они.

— Умерла! Кто умер? Моя Эмма? — раздался среди их шепота раздирающий душу вопль. Все посторонились: седой старик, в беспорядке, в дорожной одежде, покрытой

пылью, поспешно шел, поддерживаемый каким-то молодым человеком, — это были дедушка Эммы и Теобальд.

Священна горесть каждого, кто потерял милого сердцу; но терзательна горесть старика, теряющего милого сына, добрую дочь, — невыносимо зрелище такой горести старца, переживающего последние надежды свои...

— Эмма! — воскликнул он, всплеснув руками. — В самом деле умерла, умерла...

Почти без чувств упал он в руки Теобальда, который старался утешать его. Бедный старик зарыдал, горько зарыдал.

— Почтенный друг! — начал говорить ему доктор. — Неужели вы полагаете, что менее вас чувствуем мы потерю этого милого, небесного создания...

— Ты чувствуешь? ты, бесчеловечный! — вскричал дедушка Эммы. — Не ты ли вырвал ее у меня, веселую, здоровую, милую, и теперь отдаешь мне труп ее, не ты ли, говорун заморский, людомор!

— Я не ожидал таких упреков от вас, милостивый господарь, не ожидал, — возразил доктор. — Можете говорить что угодно,

но не укорять меня в незнании или небрежности. Извольте посмотреть мои журналы болезни; я готов анатомировать тело вашей внучки и доказать, что болезнь ее была неизлечима, заключалась в ее сердце...

Дедушка не отвечал ему ничего: он обнял холодный труп Эммы и плакал...

\* \* \*

Слезы текут и высыхают. И милое и дорогое сердцу человеческому забывается.

Эмму похоронили на сельском кладбище в селе княжеском, там, где в отдельном склепе лежали предки князя С\*\*\* и мирно покоились вокруг них принадлежавшие им крестьяне. Могиле Эммы отвели уединенный уголок на этом кладбище.

Княгиня несколько времени задумывалась, но потом задумчивость ее прошла. "Если и было какое пожертвование от этой бедной девушки, то могла ли я, мать, заботливая об участи своего сына, поступить иначе?"

Участь сына! Знала ли ты эту участь, близорукая смертная?

Настал 1812 год. Молодой князь С\*\*\* вырвался из сетей своей обольстительной Мо-

ины и не смотрел на слезы матери, которая плакала, но не смела уговаривать его остаться. Он вступил в тот же гусарский полк, где служил прежде, и явился в армию, когда она переходила с рязанской дороги на калужскую, после московского пожара. Через несколько дней после того в приказах стояли слова: "Исключается из списков: убитый в сражении...ского гусарского полка корнет князь С\*\*\*". — Пуля французского мародера прекратила старинный княжеский род.

Верный слуга князя, бывший при нем в армии, привез гроб его на простой крестьянской телеге в деревню праотеческую.

Здесь все уже было опустошено, разграблено; вместо великолепного княжеского дворца видны были одни обгорелые развалины. Жители села разбежались; церковь сельская была ограблена, превращена в конюшню; даже гробы предков князя С\*\*\* были разрыты.

Верный слуга с немногими крестьянами решил похоронить тело молодого господина своего в углу сельского кладбища. Стали рыть могилу и дорылись до какого-то еще свежего гроба.

— Кто бишь тут был недавно похоронен? — сказал один из крестьян, опершись на заступ.

— Вот забыл! А та немка молодая, что жила у княгини, окрестилась и умерла здесь.

— А! да, да!

\* \* \*

Порадовались ли кости твои, Эмма? Приветно ли встретили они своего соседа?

Могилы безответны живущим.

1834

# ПРИМЕЧАНИЯ

**В** настоящее издание сочинений Н. А. Полевого вошли наиболее характерные и известные повести писателя, а также его письма. Некоторые из ныне публикуемых художественных произведений Полевого уже знакомы современному читателю (см.: Рассказы русского солдата. — В сб.: Русские повести XIX века 20-30-х годов. — М.; Л., 1950. — Т. 2. — С. 3–58; Блаженство безумия. — В сб.: Русская романтическая повесть: Первая треть XIX века. — М, 1983. — С. 301–336), другие впервые перепечатываются после долгого перерыва. Тексты повестей и писем расположены в хронологическом порядке. Сборник "Мечты и жизнь" включается полностью с сохранением авторской композиции.

Для настоящего издания тексты проверены по всем имеющимся рукописным (письма) или печатным источникам. Повести печатаются в последних редакциях. Орфография и пунктуация приведены в соответствие с современными нормами, за исключением случаев, когда отклонения имеют экспрессив-

но-смысловой характер либо передают колорит эпохи, особенности произношения самого Полевого (например, "азиятское", "воксал", "вороты", "вынял", "скрыпка", "тма"). Сохранены также особенности пунктуации, имеющие интонационное значение.

## **СПИСОК ПРИНЯТЫХ В ПРИМЕЧАНИЯХ СОКРАЩЕНИЙ**

БдЧ — "Библиотека для чтения"

ВЕ — "Вестник Европы"

Записки — Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого. — СПб., 1888.

Известия — Известия по русскому языку и словесности. 1929. — Т. 2, кн. I. — Л., 1929.

МТ — "Московский телеграф"

ОЗ — "Отечественные записки"

РА — "Русский архив"

РВ — "Русский вестник"

РС — "Русская старина"

СО — "Сын отечества"

СПч — "Северная пчела"

*Эмма. Впервые: МТ.- 1834. — Ч. 55. — С. 72–127, 241–286, 407–453, 575–612. Печатается по изд.: Мечты и жизнь. — М., 1834. — Ч. 3. — С. 5–305.*

Эпиграф — из поэмы Байрона "Жалоба Тас-со" (1817).

С. 278...во времена императрицы Елисаветы... — Годы правления императрицы Елисаветы Петровны — 1741–1761.

С. 279. Нострадам (Нострадамус) Мишель (1503–1566) — французский астролог.

С. 282. Empfange meinen Vollmachtbrief zum Glucke! — из стихотворения Шиллера "Отречение" (1784).

Стерн Лоренс (1713–1768) — английский писатель.

С. 284. Шемизетка — вставка на груди женских блузок и платьев, манишка.

Эзоп (Эзоп) — древнегреческий баснописец (VI в. до н. э.).

Лаокоон — в греч. мифологии жрец Аполлона в Трое, задушенный вместе с сыновьями змеями, посланными помогавшей грекам Афиной.

С. 286. Гортензия (1783–1837) — супруга Людвига Бонапарта, короля Голландии, мать Наполеона III, была автором стихов и музыки нескольких популярных в свое время песен.

"Фрейшиц" — см. примеч. к с. 113.

Делиль — см. примеч. к с. 144.

Сен-Ламбер Жан Франсуа (1716–1803) — французский философ и поэт, член Академии; его "Catechisme universel" рекомендовались как учебник морали.

If that high world, which lies beyond... — стихотворение Байрона "If that high world" ("О, если там за небесами...") из цикла "Еврейские мелодии" (1815).

С. 294. Пери — в иранской мифологии волшебное существо в образе крылатой прекрасной женщины, отвернувшееся от мрака и стремящееся к свету.

Просперо — волшебник, персонаж пьесы Шекспира "Буря".

С. 298. Клопшток Фридрих Готлиб (1724–1803) — автор религиозно-эпической поэмы "Мессиада" (1751–1773).

С. 300. Месмер — см. примеч. к с. 102.

Ипекакуана — распространенное в тропических странах травянистое растение; его корень применяется в медицине.

Вертер — герой романа Гете "Страдания юного Вертера" (1774); покончил с собой из-за любви.

С. 304. Раковые жерновки — известковые образования, находящиеся в желудке рака; применялись в медицине.

С. 306. Гельвеций Клод Адриан (1715–1771) — французский философ-материалист.

Гуффланд (Гуфеланд) Кристоф Вильгельм (1762–1836) — немецкий врач, один из основателей геронтологии.

Франк Иоганн Петер (1745–1821) — австрийский клиницист, гигиенист, в 1804–1808 гг. работал в России.

Аберкромби — возможно, английский генерал Ральф Аберкромби (1734–1801) либо его сын Джемс (1776–1858) — известный политический деятель.

С. 308. Аруэт (Аруэ) — настоящая фамилия Вольтера.

Жюсьё (Жюссье) Антуан Лоран (1748–1836) — французский ученый-ботаник.

Бекман Иоганн (1739–1811) — ученый-технолог, физик, философ.

С. 311...микрокозм макрокозма. — Учение о микрокосме — человеке как подобии и отражении Вселенной (макрокосма) — было рас-

пространено в древнегреческой философии, философии Возрождения, а затем — эпохи романтизма.

С. 314...ростом с Ивана Великого? — Речь идет о колокольне в Кремле.

С. 317. Гмелин Иоганн Георг (1709–1755) — профессор химии и естественной истории, работал в России.

С. 319. Роллень (Роллен) Шарль (1661–1741) — французский историк.

...in quarto (лат.) — формат книги в четверть листа.

Шрекк (Шрёкк) Иоганн Маттиас (1733–1808) — немецкий историк; его "Краткая всеобщая история для употребления учащегося юношества" была переведена на русский язык.

С. 321. Гуммель Иоганн Непомук (1778–1837) — австрийский композитор.

С. 323...труп Авеля... — см. примеч. к с. 484.

С. 326. Копфбреннер — фамилия; вероятно, имеет значащий характер (переводится с нем. как "горячеголовый").

С. 337. Ты помнишь эту великую повесть? — Далее пересказывается евангельская

легенда.

Бриошки — сдобные булочки из белой муки.

С. 338. Лауренс (Лоренс) Томас (1769–1830) — популярный английский живописец.

Серсо — игра с тонким обручем, который подбрасывают и ловят палочкой.

С. 343. Текла — см. примеч. к с. 103.

С. 346. "Олимпиада" (1784) — опера итальянского композитора Доменико Чимарозы (1749–1801).

С. 351. Памела — героиня одноименного романа английского писателя Сэмюэла Ричардсона (1689–1761). Нанина — героиня комедии Вольтера "Нанина, или Побезденный предрассудок".

С. 352. Огиньский (Огинский) Михаил Клеофас (1765–1833) — польский политический деятель и композитор, автор полонезов.

С. 360. *Tu proverai si come sa di sale...* — "Божественная комедия" Данте ("Рай", песнь 17).

# Примечания

Смотри! Не уступив отчаянья  
порывам,  
Неугасимую любовь к тебе  
мою,  
Часть лучшую души, так глупо  
боко таю  
Я в сердце замкнутом и вечно  
молчаливом,  
Так тучи грозовой таинствен-  
ная мгла  
Скрывает молнию в своем по-  
крове свитом,  
Пока не вылетит воздушная  
стрела...

Пер. Т. Щепкиной-Куперник

## 2

"Собрание духовных песен", которые поют в лютеранской церкви во время божественной службы и нередко дома в благочестивых семьях.

[^^^]

# 3

"Возрадуйся, о господе, и благослови его, душе моя! Не он ли, яко отец, помышляет о тебе, да ни единое благо прейдет мимо тебе?"

[^^^]

## 4

Возьми мою доверенность на земное счастье — возьми! Я отдаю тебе ее обратно, нераспечатанную: я не знал наслаждения счастьем...

[^^^]

"Лифляндскую поваренную книгу" (нем.).

[^^^]

# 6

Добрый день, мой друг! (фр.).

[^^^]

Я вам желаю от всего сердца всяческого счастья (фр.).

[^^^]

Если в этом мире, возвышенном над нашим миром, переживает нас любовь наша; если там переживут нас любящее сердце и очи любви, уже не знающие слез, — как радостно перейти в эти безвестные небеса, как весело умереть в сей самый час, улететь с земли и увидеть все опасения исчезнувшими в свете твоём, о Вечность!

Так должно быть: не за самих себя трепещем мы, стоя на берегу, и, порываемые желанием переплыть бездну, остаемся прикованные тяжкою цепью. Ах! оставьте нам думу, что в неизвестной будущности сердце соединится с любящим его сердцем, упьется с ним водами бессмертия, и душа с душою будут жить вместе, неумирающие!

[^^^]

"Отче наш" (нем.).

[^^^]

К черту! (нем.).

[^^^]

царская настойка (лат.).

[^^^]

# 12

В моей темной хижине все время новые заботы; ветер, солнце или стужа, но все равно труд и дела! (фр.).

[^^^]

"Важное исследование милорда Болингброка,  
или Могила фанатизма" (фр.).

[^^^]

Это что-то знахарское (фр.).

[^^^]

Может быть, то же скажут и читатели наши; но мы просим их извинить нас, ибо повторяем слово в слово речи доктора и не смеем изъяснять того, что ему самому казалось темно для других. Но что сам он хорошо понимал все, что говорил, в этом мы уверены и уверяем наших читателей.

[^^^]

# 16

Он знает все, что он не знает (нем.).

[^^^]

Да, да! (нем.).

[^^^]

"Ты мой отец, я твое дитя: мое счастье — любить тебя!" (нем.).

[^^^]

Об искусном представлении видений" (лат.).

[^^^]

Милое дитя! (фр.).

[^^^]

"Да. <...> Посмотрите, с каким блестящим разнообразием меняются ее цвета; но каковы бы ни были переливы красок, разве не есть это всегда утешительный знак небесной любви?" (фр.).

[^^^]

"Жизнь на этом свете ничтожна; одно дуновение — и нас нет в помине, но все печали и горести наши лишь приближают нас к любви отца небесного..." (фр.).

[^^^]

привязчивое животное (фр.).

[^^^]

Прости, жизнь; простите, мои погибшие надежды! Будь счастливее меня...

[^^^]

мещане (фр.).

[^^^]

Ты испытываешь на себе, как солон чужой хлеб  
и как тяжело всходить на чужое крыльцо и  
сходить с него...

[^^^]